
В. В. Кузнецова-Васькина
БЫЛЬ —
НЕ СКАЗКА...

В. Кузнецова-Васькина

БЫЛЬ — НЕ СКАЗКА

Саратов
Приволжское
книжное
издательство
1989

Рецензент: *О. Н. Гладышева*, член СП СССР.

Кузнецова-Васькина В. В.

К89 Быль — не сказка: [Повесть]. — Саратов: Приволж. кн. изд-во, 1989. — 136 с. (Для мл. шк. возраста).

ISBN 5—7633—0143—9

Повесть, написанная от лица девятилетней девочки, пережившей войну и оккупацию, порой производит впечатление дословной литературной записи жизненных фактов. Быль... Она в точных, непридуманных деталях, в искренности чувств и переживаний.

Книга рекомендована к изданию межобластным семинаром молодых литераторов.

84Р7

К $\frac{4803010201-35}{153(01)-89}$ 52—89

ISBN 5—7633—0143—9



Начало

О начале войны объявили по радио, но для каждого отдельного человека, как я думаю сейчас, спустя десятки лет, она началась в свое время и при каких-то особых обстоятельствах.

В мою жизнь война вошла ранним июньским утром, когда над нашим городком, еще не совсем пробудившимся от сна, пролетел самолет и сбросил бомбу. От ее взрыва ухнуло так, что дом, казалось, подпрыгнул на месте. Все в нем затрещало, зазвенело, посыпалось. Бабушка — Анна Андреевна — уронила что-то из посуды и будто окаменела. Мать выхватила из кроватки годовалого брата Ваню, очень больно схватила меня за руку, бросилась на улицу.

— Мама! Мама! — уже на ходу кричала она бабушке. — Быстрее! Уезжать надо!

И вот мы куда-то бежим по освещенной солнцем улице под несмолкающий вой самолета с черными крестами и нашего станционного паровоза, обычно стоявшего где-то на запасном пути.

Я оказалась в ночной сорочке, босиком. Ивашка — одетый только в ситцевую рубашонку. Но моя мама, с растрепанными волосами, широко открытыми и ничего не видящими глазами, удивила меня больше, чем все то, что происходило в это время на земле и в небе.

— Да стой же ты! — требовала я, чуть не плача, но она, казалось, лишилась и слуха.

Тогда, ухватившись свободной рукой за штакетник палисадника, я решила пересилить ее, остановить. Мать, прижимая к груди брата и непрестанно дергая меня, даже не понимала, что мы уже никуда не бежим, задыхаясь, все повторяла:

— Ну быстрее же! Быстрее!.. Только бы успеть на поезд!..

Мимо нас все неслось, катилось, мчалось: лошадь с повозкой, перепуганные горожане и даже собаки. И вдруг в воздухе что-то про-

нзительно зазвенело. Мама отпустила мою руку, я перестала держаться за ограду. На нас двумя рядами, по нескольку штук в каждом, стремительно снижались какие-то предметы.

— Мама! Мячики! — моему изумлению не было предела.

— Бомбы-ыы! А-а-аа!! — раздался один общий крик.

Земля вздрогнула, выскользнула из-под ног, я свалилась в придорожный кювет. Заложило уши, перехватило дыхание. Плохо соображая, приподнялась на четвереньках и огляделась: рядом под большим лопухом лежали мать и Ваня. Мама бледная, глаза закрыты. Я начала трясти ее за плечи. Она пошевелилась, потом с трудом села.

— Господи, да что же это такое было? — разомкнув веки, глухим голосом спросила она.

Я пожала плечами.

— Ведь на ногах не удержалась, будто подкосило... Ничего не помню... Ваня?! — Она схватила брата, начала осматривать и ощупывать его с головы до пят.

Тот дышал, смотрел, широко распахнув синие глаза, но молчал.

— Меня тоже... как подкосило. — Я присела рядом с матерью, потому что ноги совсем не держали меня.

Неведомая сила опрокинула всех, кто спешил на вокзал: женщин, стариков, детей. Поднимаясь с мощенной булыжником дороги, люди собирали разбросанные узлы, искали близких. Непрестанно сигналя, в сторону вокзала пронесся грузовичок. В нем сидело несколько бойцов. Все посмотрели им вслед и увидали впереди черные столбы дыма. Запахло гарью. Паровозик молчал.

— Станцию разбомбил, — сказал кто-то, — одну на три района.

— А это, видать, ему и надо было. Кружил, кружил... Нет теперь станции.

— Как это нет?! — спрашивала молодая женщина. — На завтра назначена эвакуация граждан, всего мирного населения.

— Мирное... Какое же оно теперь мирное? — говорила сердито старуха, перекидывая два связанных мешка с одного плеча на другое. — Кончилось все наше мирное. Война!

Мне не хотелось войны, потому что не хотелось всего того, что я увидала в то утро: железный плач паровоза, торжествующий вой бомб и страх людей. Тогда мне казалось — это наши первые и последние испытания, которые надо поскорее забыть, и все опять станет как прежде, до войны.

— Мам, хватит! Пошли домой! — потребовала я.

Она послушалась. Мы возвращались будто после долгого и далекого пути. На дороге, у дома, нас дожидалась бабушка, держа в руке платья, кофты, туфли. Она стояла посреди широкой улицы с этими вещами, как с хлебом-солью для дорогих гостей, и смотрела вдаль, должно быть на черный дым, который теперь уже затянул полнеба траурной завесой. Из глаз ее лились слезы. И я подумала: она плачет оттого, что мы оставили ее одну.

— Бабушка-аа! — кинулась я к ней, хотела попросить прощения, но так и не смогла сказать больше ни одного слова.



— Глупые, неразумные... — говорила баба Аня, обнимая меня за плечи и роняя на землю одежду. — Кто ж от бомб бегает, от них хорониться надоби, а не метаться перед огнем. Поди, сколь народу пострадало. Счастье ваше, что вы туда не поспели.

— Что же делать? — Мама не присела, а рухнула с Ивашкой на крыльцо.

— Что делать? — сурово переспросила бабушка и распорядилась: — Все бросить, из города уходить. — Теперь, когда мы собрались все вместе, слезы ее высохли, а взгляд стал строгим. — Видать, фронт уже недалече. А немца прогонят, назад вернемся. Только в дорогу следует собраться, не голью же бечь на потеху басурману.

Хоть она и посмотрела на нас с мамой сердито, все равно я поняла, что с бабой Аней куда легче, она всегда знает, что надо делать.

А в доме все оставалось как прежде: тихо, прохладно, уютно. На окнах висели белоснежные занавески. В большой комнате по полу постелены домотканые пестрые дорожки. Захотелось лечь на них и не вставать. Но в это время сильно грохнула входная дверь. Я вздрогнула, стала прислушиваться, не зазвенело ли опять в небе, готовая в любую минуту сорваться с места и опрометью броситься на улицу. Все теперь знают, как от взрыва бомб рушатся, падают и горят дома.

— Анна Андреевна! Феня! — позвала бабушку и маму забежавшая впопыхах тетя Поля — наша соседка. — Все уходят! Вы что сидите?!

— Куда уходят?!

— На Великие Луки по старой шоссейной дороге, пешим путем...

Действительно, народ вытекал из города, как вода из разрушенной запруды, и мы начали торопиться. Спешно оделись, собрали коекакую еду, навязав каждому узел по силам. Однако ни книжки, ни игрушки мне взять не разрешили.

— Не до цацок теперь, — говорила бабушка. — В дороге котомка и без того тяжелой покажется. Один Ваня наш что весит, ужо всем от него достанется.

В знакомой обстановке у Ивашки снова прорезался голос. Он весело гулил на своем полуптичьем-полуребячьем языке, топая толстыми ножками, хлопал в пухлые ладоши, как его учили тому еще до войны.

Мы оставили все: мебель, белье, посуду, высокий светлый дом, крытый оранжевой черепицей, дворик, поросший душистой травой и ярко-желтыми георгинами, сад, огород.

— Теперь всем этим наша армия распорядится, — заверила присоединившаяся к нам тетя Поля. — Нами тоже распорядится...

За подол ее платья с двух сторон цеплялись двойняшки-четырехгодки Галя с Валей. На руках она держала третью девочку, чуть постарше нашего Вани, а впереди с большим мешком за плечами шагал сын Виктор. Он старше меня, и мы с ним не дружим. Дело, конечно, не в возрасте, просто Витька Иванов не хочет замечать меня, а я его.

Мы уходили от города по неширокой проселочной дороге. Под

лучами горячего июльского солнца, в клубах дорожной пыли шли женщины, дети, старики. Все так спешили, что нельзя было не только присесть, чтобы передохнуть немного, но даже остановиться на минутку. Никто не хотел в такое время отстать от других, и поток людей неудержимо несло вперед.

С нами шли и красноармейцы, усталые, запыленные, в мокрых от пота гимнастерках. Они не хотели ни разговаривать с нами, ни смотреть на нас. Обгоняя беженцев, солдаты пропадали вдали. Однако присутствие военных как-то успокаивало. Поэтому, должно быть, заприметив впереди себя красноармейскую пилотку, каждый старался как можно дольше не терять ее из виду. А у меня было и другое желание: не уступить Витьке. Но с каждым километром я уставала все больше и больше, и тогда стало казаться, что этой длинной и тяжкой дороге не будет конца.

Не знаю, прошли ли мы с десяток километров или меньше, как вдруг со стороны солнца, словно из его клокочущего жаром шара, вылетел самолет с такими же, как утром, черными крестами и низко пролетел над нами, лениво покачивая крыльями. Где-то в начале колонны он развернулся навстречу нам и ударил первым градом пуль. Впереди запоздало прокричали: «Воздух!» — и в одно мгновение шоссе опустело. Только я стояла посреди дороги и из-под руки рассматривала чужой самолет. Огромный, он снижался прямо на меня... Ни думать, ни двигаться я уже не могла... Но в последний момент кто-то сильно рванул меня за пояс, и, выпустив узел, я кубарем покатилась вниз по крутому песчаному косогору. Свалившись в высокую траву, протерла глаза, увидала рядом усатого красноармейца.

— Сейчас еще раз развернется, — не отрывая взгляда от неба, говорил боец, — пойдет прочесывать придорожную полосу. Как за зверьем, за людьми охотятся.

И действительно, притихший где-то за поворотом гул мотора стал нарастать вновь. Усатый боец, не дожидаясь его приближения, взял меня за руку и, пригнувшись, бросился к кустарнику. Путаясь в траве, непрестанно спотыкаясь, я бежала за ним.

Рассеянные по всему придорожью люди тоже спешили туда, бросая на ходу узлы, коробки, мешки. Только бы успеть в укрытие!

Снова ударил пулемет, засвистели пули. В ответ раздались только крики, похожие на стоны.

— Вот проклятые фашисты! — сплевывая в кусты орешника, озлобленно выругался солдат. — От самого Острова, гады, на головах катаются. — И вдруг рассердился на меня: — А ты что рот разинула посреди дороги?!

— Да поглядеть охота, — нехотя проговорила я.

Солдата, должно быть, удивил мой ответ, и он какое-то время будто рассматривал меня.

— А-ха-ха-ха, — неожиданно рассмеялся он. — Я вот тоже решил один раз полюбопытствовать, а потом бег, аж винтовку утопил. Как теперь перед своим командиром отчитаюсь? — Он огляделся вокруг. — Нет, на моем веку такого еще не бывало.

Я вспомнила о своей оброненной и безвозвратно утерянной котомке, согласно кивнула:

— На моем тоже...

Боец перестал смеяться, строго спросил:

— Сколько лет тебе?

— Девятый пошел. Я нынче во второй класс пойду.

— А звать как?

— Александра Краскова. Можно еще Шура или Саша...

— И имена у тебя хорошие, — сказал красноармеец, но разъяснять не стал, что ему еще понравилось во мне. — Ну, а теперь твоя боевая задача, Краскова, разыскать своих родных.

Я протирала засоренные песком глаза и сквозь слезную пелену смотрела на солдата: усы его свисали вниз от серой пыли.

— Прощай, Шура Краскова! Пока будем отступать в заданном направлении, а потом воевать. — Боец отряхнул гимнастерку, затянул потуже ремень. И я услыхала мамин голос:

— Шура-а-а... Шурочка-аа! — звала она меня из глубины густого орешника.

Рванулась на зов, оглянулась на бегу: солдат, выпрямившись во весь свой высокий рост, шел в обратную сторону — к дороге.

Бабушка встретила меня легким тумаком.

— Ах, Шурка, Шурка, пропадешь ты из-за своего растяпства.

— Да будет, — заступилась за меня мама, — нашлась ведь...

Однако баба Аня и не думала оставлять меня в покое.

— Где ж твой узел? — вполголоса спросила она, потому что рядом на траве спал Ваня и старшие оберегали его чуткий сон. — Ахти! — бабушка всплеснула руками. — Теперь тебя и переодеть будет не во что. Взять бы хворостину, да...

И тут словно из-под земли вырос босоногий Витька Иванов. Он ничего не говорил, стоял рядом и, наверно, ждал, когда меня начнут охаживать кнутом.

— А я, бабусь, немца видала, — сообразив, о чем надо говорить, чтоб окончательно не осрамиться, сообщила я.

— Тихо ты, выдумщица! Людей переполошишь!

— Не-е, правда видала, — настаивала я на своем, — он в аэроплане сидел, плевался, вот на землю и летели эти... бомбы...

— Так и есть — нечистая сила! — простонала бабушка.

— Врешь ты все, — неуверенно возразил Витька, но я не дала ему говорить, заторопилась все выложить, что думала.

— А вот и не вру! Когда он летел, я ж под ним стояла. И узел бросила, чтоб лучше видно было.

Сомнения у Витьки, кажется, немного рассеялись, и тогда он спросил:

— А морда у него какая?

— Обыкновенная... И ни собачья, и ни медвежья, а обыкновенная, вот какая.

— Ну и что... страшно было? — вцепился в меня серыми хитрющими глазами мой сосед.

Только я-то могу быть и хитрее его и на какой-нибудь ерунде не попадусь.

— А ты думал! Еще как страшно! Но смотреть на него надо не мигая, а то моргнешь, ничего больше не увидишь. Вот гляди-ка, что у меня получилось, — показала я на свои глаза, все еще затянутые слезной пеленой и, должно быть, красные.

Витька внимательно посмотрел на меня, задумался, потом невесело махнул рукой:

— Я ведь тоже обутку потерял... Как с ног слетели, и не заметил... — неожиданно признался он и пошел прочь.

Несколько женщин, собравшись в круг под соседним орешником, негромко разговаривали, неотрывно глядя на шоссе. Сквозь заросли было видно: пыль прилегла на нем, самолет больше не летал и солнце уже не палило с прежней силой. Однако пока никто не решался выйти на дорогу. Путь продолжали, пробираясь по кустарникам.

Вдруг мама подняла глаза к небу и прошептала:

— Слышите, звук какой-то?! Но это не самолет.

И мы стали вслушиваться в шум кустарника, отдаленные голоса беженцев, сквозь которые прорвался звук мотора. Я первая вынырнула из кустов и увидала: по шоссе мчится перегруженная красноармейцами машина. Грузовик, полный солдат! И, словно по сигналу, на дорогу снова высыпали люди. Переспрашивая друг друга об автомобиле: правда ли, что он проехал, или кому-то помстилось, веря и не веря, все торопились за ним, у кого на сколько хватало сил.

— Свои-то не оставят, — уверенно говорила бабушка, тяжело опираясь на палку. Видно, ее больные ноги уже дали о себе знать, если ей пришлось искать для себя подходящую опору. — Не посмеют бросить на произвол супостату, пожалеют.

Самолет больше не мешал нам, и к вечеру мы добрались до того места, где в кювете, при дороге, лежал исковерканный еще дымящийся грузовичок. Его со всех сторон обступили беженцы, пытаясь разобраться, что здесь произошло. Поэтому, должно быть, кто-то обратил внимание на то, что редкие и чуть слышные залпы ухают не сзади, как бы следовало, а где-то впереди — на востоке. Там же в надвигающихся сумерках обозначилось и неестественное, похожее на закат, зарево.

— А война-то, видать, обогнала нас и дорожку заколодила.

Предположили и то, что красноармейцы сами взорвали машину, сбросили в канаву и ушли в лес.

Я поспешила к бабе Ане и сообщила ей, что слышала от других. Бабушка охнула то ли от боли, то ли от моего известия и осела на землю.

Сидя у обочины дороги, она качала головой и не говорила ни слова.

— Да не переживай ты, баба! Сказали, что завтра опять отступать будем.

Подошла мама. Привязанный платком Ивашка дремал на ее груди.

В лес надо уходить, — сказала она. — Благо в этих местах урочище со всех сторон на сотню верст.

— И то дело, — согласилась бабушка, — так теперь и будем прятаться по кустам да кочкам. — Она с трудом встала на ноги. — Беда-то какая на Расею свалилась: про детей, матерей забыли.

Какое-то время мы продирались сквозь густой придорожный кустарник, пока не выбрались, уже при полных сумерках, на мшистую поляну. Я свалилась на мягкий теплый мох под высокой сосной. Руки мои не двигались, ноги налились такой тяжестью, которой я раньше никогда не испытывала, язык не поворачивался, чтоб сказать слово. И я думала: то, что произошло днем, — дурной сон, но сейчас, когда я засыпаю на самом деле, ко мне вернется все хорошее: светлые дома с оранжевыми крышами, ребята в нарядных платьях, а сама — очень веселая...

Мама опустилась рядом на колени:

— Спишь?

Я промолчала.

— Ах, Шурка, Шурка, — говорила она так, будто попрекала меня, — умаялась ты. Весь день на ногах, ничего не ела, и пожалеть тебя некому. — Она прикрыла меня какой-то одежонкой и отползла в сторону. Должно быть, и у нее не хватало сил, чтоб подняться на ноги.

Две огромные, совершенно непрошеные слезы выкатились из моих глаз. И, словно желая утешить меня, небо начало быстро опускаться вниз, мигая яркими звездами, и вдруг упало на грудь... Я уснула.

Взрослые говорили потом, что в тот день мы смогли пройти километров двадцать, не больше. Тогда я не знала, много это или очень мало, но была уверена: большего сделать невозможно.

Кто страшней?

Просыпаться начали с рассветом. Ночью выпала такая сильная роса, что холодными, влажными стали руки, ноги, лицо, волосы, одежда, поэтому еще до восхода солнца всем стало не до сна. Пробудившись, женщины и дети грустно рассматривали замшелую лесную поляну, высокие деревья на ней с таким видом, будто вчера легли в теплую мягкую постель, но по злой воле, как бывает только в сказках, очутились в лесу — одинокие и бедные.

Я тоже какое-то время думала так, но потом ни с того ни с сего мне показалось все не таким мрачным, а интересным и даже веселым. Скинув туфли, я вскочила и начала кружиться. Широко раскинув руки, запрокинув голову к небу, я вертелась все быстрее и быстрее, глядя на макушки деревьев. И вот они вздрогнули, описали один круг вместе со мной, другой и неудержимо закружились под мою песенку.

— Лес танцу-у-етт! — пела я. — Лес пое-ет-тт!

А за мной и другие ребята начали кружиться, задрав носы квер-

Теперь, казалось, и заря разгоралась быстрее, и в лесу стало теплее. Он ожил и загудел. В ответ и матери наши скупо улыбнулись.

Все оборвалось в одну минуту: к нам шел отряд красноармейцев.

Никто не поспешил к ним навстречу, стояли как вкопанные и ждали их приближения, пытаясь догадаться, какие новости они несут с собой. Около десятка бойцов шли не поднимая голов, словно боясь потерять в густом мху чуть приметную тропу. Наконец они поравнялись с нами. Их гимнастерки промокли, обмотки и ботинки набухли от сырости, на лицах, похожих на серо-желтую кору, блестели капли то ли росы, то ли пота. Бойцы хотели пройти мимо, но самый молодой по возрасту и самый старший по званию остановился. Было ясно, что хороших вестей у него для нас нет. Однако уйти под вопросительными взглядами беженцев, не сказав ничего, он не мог.

— Женщины, на дорогу не выходите, она теперь не наша. Бои идут километров за пятьдесят от этих мест.

Я не отрываясь смотрела на командира, хотела, чтоб он тоже заметил меня, поднималась на цыпочки все выше и выше. Но он продолжал говорить, глядя куда-то поверх моей головы:

— Костры не жгите, особенно ночью: бомбят. По обнаруженным сверху двигающимся объектам открывают огонь.

Все молчали, и только по-прежнему гудел лес.

— Вы как же, родимые? — решилась спросить моя бабушка.

— К своим отходим, мамаша, с боями...

— Храни вас бог! — и баба Аня перекрестила воздух в том направлении, где стоял молодой командир.

А женщины, словно по команде, бросились к своим узлам. Они доставали хлеб, вареную картошку, яйца, сало, у кого что нашлось, и совали в руки бойцам. Те отказывались от угощения.

— Да берите же, берите! — настойчиво просили бабы, смахивая с лица слезы. — Когда еще до своих доберетесь? А мы-то как-нибудь... Мы-то что... Пользы от нас никакой...

— Становись! — раздалась команда.

Солдаты образовали цепочку, выстроившись по росту. У каждого винтовка за плечом. Командир поправил кобуру на поясе, козырнул женщинам, но, подумав, снял фуражку, наклонил голову.

— Оставайтесь живыми... — тихо сказал он.

Отряд уходил в глубь леса, в ту сторону, откуда вставало огромное солнце.

За моей спиной кто-то тяжело вздохнул. Я оглянулась, рядом стоял Витька Иванов. Он тоже смотрел вслед уходящим и дрожал не то от обиды, не то от холода.

— Все равно уйду на войну — топчась на месте и, видимо, с трудом сдерживая себя, чтобы не припустить вдогонку, говорил он. — Вот только мамку и сестер доведу до места... И-ии...

Я не очень-то верила Витьке, вспомнив, какой мешок он тащил вчера. Тетя Поля знала, как нагрузить сына: с таким узлом сильно

не разбежишься, и бросить — не бросишь. Но чтоб хоть как-то успокоить его, я согласно кивнула головой.

Вдали между деревьями в последний раз мелькнула голова замыкающего бойца, но вот и его скрыли толстые сосны и белый туман... Подумал ли кто в то утро, что солдат Красной Армии мы увидим только спустя более двух лет? Нет, должно быть, такая мысль и в голову никому не могла прийти, все надеялись на лучшее.

Красноармейцы ушли, и, проводив их взглядами, женщины опустили руки, не зная, что говорить, делать, о чем думать.

— Эко, мы тут все разомлели, — заговорила громким голосом Полина Егоровна, — будто и правда на воскресный день развлекаться приехали. — И приказала: — А ну-ка, бабы, собирай котомки!

Все задвигались, с трудом поднимаясь на ноги и взваливая на плечи нехитрые пожитки.

— Ноги-то нам зачем даны?! — подбадривала нас тетя Поля, а за подол ее уже крепко держались Галя с Валей. — От своих небось как-нибудь да не отстанем, где пешком, где ползком.

Все готовы были тут же тронуться в путь, но вмешалась моя бабушка — Анна Андреевна.

— Погодите маленько, — попросила она, — а ты, Полина, толком разъясни народу, куды пойдем?

— Куда? Как куда? — забеспокоилась тетя Поля, видимо не зная, что сказать. — Должны же где-то и нас принять... вот туда и пойдем...

Ее поддержала другая женщина, у ног которой, как веретена, кружились трое ребятишек.

— Командир сказал, что шоссе не наше, а лес-то, должно быть, наш.

— Наш-то он — наш, да где в нем Совецку власть сыскать? — все еще сомневалась бабушка.

И тут из-под руки своей высоченной мамаши высунулся злющий-презлющий Витька Иванов и заорал:

— А вы если хромая, баба Аня, так и сидите тут! А нам к своим надо! Слышите, сво-им!...

Полина Егоровна попридержала маленько сына за плечи и ударила по щеке:

— Ах ты, дрянь! На старших голос повышать!

Галя с Валей спрятали лица в складках широкого материнского платья, младшая их сестренка заревела, а Витька упрямо взвалил на себя поклажу.

— Не обессудьте, люди добрые. Но мы на восток пойдем, — сказала тетя Поля.

— Ну на восток так на восток, — не стала спорить бабушка, но все же добавила: — Только уж больно он велик, наш восток, как бы не затеряться.

Ребята получили по куску хлеба с картофелиной или вареное яйцо, и наша группа — пять многодетных семей — тронулась в путь. Шли, как и бойцы, в ту сторону, откуда вставало солнце.

День опять выдался жаркий, такой жаркий, что в безветренном лесу, казалось, совсем нечем было дышать. Малыши ни на минуту не прекращали плач: им все время хотелось пить. А мы все шли и шли...

Чистый бор давно уже сменился густым мелколесьем, засоренным валежником. Путаясь в густой траве, ребята с трудом перелезали через повалившиеся деревья. Женщины, выбиваясь из сил, с плачущими малышами на руках, подгоняли старших детей криками.

И чудилось мне, будто все спешат к какой-то необыкновенной черте, проведенной где-то далеко за горизонтом, перешагнув которую мы станем «своими». Заиграет, как на Первое мая, духовой оркестр. На ветру развеваются красные флаги... Навстречу идет папа... Он поправляет на поясе кобуру, берет под козырек: «Молодец, Шурик!»

Ему нравилось это слово — «молодец». И я у него всегда была молодец...

Одна баба Аня, как видно, ни о чем не мечтала. Всю дорогу она подсчитывала пройденный путь, что-то прикидывала в уме, ни с кем не разговаривала. Когда же жгучее солнце повисло над макушками деревьев, нагнав на нас тучу оводов, она распорядилась:

— А теперь меня слухайте! Здешние места я хорошо знаю, родом из этих краев. И думаю, что нам след надоби к реке держать. От дороги версты на три ушли, и слава богу! — она перекрестилась. — Пущай-ка басурмане попробуют достать! — и погрозила суковатой палкой в ту сторону, откуда мы шли. — Вот у речки и будем своих дожидаться обратно. А в такую жару, без воды, нам за ними не угнаться, сами видите.

— А далеко ли до речки, Андреевна? — спросила тетя Поля. Она сидела на земле, облепленная со всех сторон своими девчонками.

— Версты две будет.

— Вёрсты-то длинные? А то сил у меня нету больше никаких, хоть ложись да помирай.

— Неполных три километра как-нибудь пройдем, — заверила бабушка.

Ее послушались и во второй половине дня, ближе к вечеру, вышли к реке.

У тихой речки, поросшей осокой и кувшинками, уже расположились какие-то беженцы. Они нас радушно приняли и начали отпаивать чаем, заваренным травами. После еды все попáдали на желтый песок в густом ельнике и уснули. Спали женщины, грудные дети и ребята постарше. Спали крепко, кое-кто даже похрапывал.

Я, с тех пор как ушли из дома, первый раз вволю напилась воды, хорошо закусила хлебом с солью и картошкой. Совея от сытости, покоя, речной прохлады, сидела у чуть тлеющего костерка и смотрела, как две старушки — моя бабушка и новая беженка — пьют чай. Горячую ароматную заварку, пахнущую скорее сладкими лекарствами, чем обычным чаем, они разливали по жестяным кружкам и, добавив туда крутого кипятку, начинали прихлебывать небольшими глотками.

Где-то поблизости, выглядывая из-за кустов, бродил Витька Ива-

сев. Было видно по всему, что он хочет мне что-то сказать, но не решается подойти, знает, что я еще не забыла, как утром он кричал на мою бабушку.

— Это баба Аня нас привела сюда, — начала я рассказывать беженке, но так громко, чтоб и мой сосед послушал, — если б не она, то чтоб мы делали, ребята малые да женщины, без помощи... — Я, конечно, повторяла то, о чем уже говорили взрослые, однако была уверена: только что эти мысли мне самой пришли в голову.

— Старших-то, внученька, завсегда слушаться надо, — согласилась со мной маленькая круглая старушка.

И я победно поглядела в ту сторону, где стоял Иванов.

— А ты, чем хвастаться по-пустому, лучше пойди умойся, — сказала мне баба Аня. — И лицо твое, и ноги — ровно энти головешки из костра. — Она пошарила в мешке, который постоянно был при ней, извлекла оттуда кусок душистого мыла. — Гляди, в речку не упусти, — строго предупредила меня, — а то Ваню нечем будет помыть.

По высокому крутому склону я спустилась к реке. Залезла под развесистый куст ракитника, примостилась на толстом суку и опустила ноги в воду. Избитые и расцарапанные в кровь, они сразу перестали ныть и зудеть. Задумавшись, я смотрела на темно-зеленую воду, что красивым колечком закручивалась у противоположного берега, и увидала там, на коряге, торчащей из воды, чьи-то ноги в больших сапогах...

Человек, голову и туловище которого скрывала густая листва кустарника, видно, избрал для себя не совсем удобное место и поэтому переступал с ноги на ногу, чтоб не соскользнуть в воду. Но вот он осторожно ступил с коряги на берег. Желтые сапоги скрыла густая осока. Делалось все так тихо и незаметно, будто незнакомец хотел заманить меня в интересную игру. В том, что он таился, не было никакого сомнения. Каждый знает, как это делается, если хоть раз в жизни играл в прятки. А прятался незнакомец так хорошо, что на какое-то время я даже потеряла его из виду. Но вот из листвы просунулись темные руки, они раздвинули зеленую завесу, и в просвете мелькнуло, как мне показалось, белое-пребелое лицо. Оно быстро скрылось, но и этого оказалось достаточно, чтобы испугать меня. Нас разделяло метров пять-шесть, и речка здесь была глубокой, однако я ни за что бы не решилась крикнуть незнакомцу, что вижу его. Не двигаясь сидела в засаде и заботилась только о том, как бы ненароком не обнаружить своего присутствия.

А над рекой, будто в гостях за самоваром, пили чай старые женщины и вели беседу. Я знала, что в часы отдыха моя бабушка любит речи длинные, неторопливые.

— Река эта, — рассказывала она новой знакомой, — Устьей прозывается. Где такая глубоченная, что и десятиаршинным шестом не достанешь, а где мелкая — воробей перейдет, хвоста не замочит. Чуток повыше этого места точно такая она и есть.

— А сама-то из какой деревни родом? — спросила бабушку ее собеседница.

лась

друг

на З
ребр

зыва

шает
став

бушк

жени
дешь
не на
че, бо

куста
кота
мый
метит
ни бр

воду.
как,
тому
руки

А

бравш
С
ние с
ках я
ленны

«
С
варкой
Их за

Н
смотре
Н
щил в
Са
походи

— Про Пыжово-то слыхала? — в свою очередь поинтересовалась баба Аня.

Старушка о таком селе ничего не знала, так как оказалась из другого района.

— Оттуда я, из Пыжова, — ответила бабушка, — а замуж вышла на Заозерное. Это уж опосля смерти мужа в город к дочке с зятем перебралась...

Каждое слово я слышала так отчетливо, будто все это рассказывалось мне.

«Так и он же слышит! — поразила меня догадка. — Все выслушает, а потом как выскочит из кустов, да как...» Нет, я не могла представить, что задумал странный человек.

В листве еще раз показалось белое пятно и быстро исчезло. А бабушка все говорила и говорила:

— Народ здешний я хорошо знаю, кто где родился, крестился, женился. И меня многие знают. А вот в деревню свою теперь не попадешь, — она немного понизила голос. — Сказывали нам, что дорога не наша. А по лесу все одно далеко не уйдешь. Тут за рекой, недалече, болото непролазное начинается.

Баба Аня говорила еще о чем-то, а человек так же прятался в кустах. Вдруг среди неспешных разговоров старух, плеска воды, стрекота кузнечиков, крика птиц я различила новый, невыносимо знакомый звук — отдаленный гул самолета. Вот-вот он появится здесь, заметит костер, сбросит бомбу, и у меня не станет ни бабушки, ни мамы, ни брата, ни знакомых... «Останусь одна-одинешенька...»

— А-аа! — закричала я не своим голосом и свалилась с ветки в воду. Встала на ноги, благо оказалось не очень глубоко, и, не помня как, вылетела на берег. — А-а-аа! — Но нужно еще подняться по крутому склону вверх. Однако меня совершенно перестали слушаться мои руки и ноги.

А гул мотора все нарастал.

— Баба-аа! — Преодолеть подъем никак не хватало сил. Добравшись до середины, я снова скатывалась вниз.

Самолет не вылетел, а выплыл из-за леса. И теперь все мое внимание сосредоточилось на нем. Не отрывая от него взгляда, на четвереньках я поднималась все выше и выше. Движения мои стали замедленными и очень экономными.

«Сейчас, я сейчас...» — наконец-то вылезла на косогор.

Старушки выплеснули в костер кипяток из чугунка вместе с заваркой, разлопушили широкие юбки, не в силах оторваться от земли. Их заволакивал не то белый пар, не то дымок.

— В лес беги, хоронись! — кричали они мне.

Но я решительно ничего не могла с собой поделать, стояла и смотрела на них.

Но откуда-то выскочил Иванов, схватил меня за шиворот и потащил в ельник.

Самолет оказался необычным, мы такого раньше не видали. Он походил на несуразную раму которая могла медленно парить в воз-

духе. «Рама» повисела над нами и неспешно поплыла в глубь... Только потом мы узнали, что это — самолет-разведчик.

— Ничего не заметил чудо-юдо, ни костра, ни нас, — с облегчением перевела я дыхание, но тут с ужасом обнаружила, что в моих руках нет мыла — единственного припасенного бабушкой куска. Я поведала о беде Виктору.

Но Витька только засмеялся и хлопнул меня по животу. Должно быть, наблюдая за странным человеком, я спрятала мыло за пояс и от страха все позабыла.

— Еще как самолет увидишь, так забудешь, где у тебя голова, где ноги, — засмеялся сосед.

— Сам ты три дня не умывался! — рассердилась я.

— Ну и что ж, зато сейчас пойду купаться. До середины реки доплыву, вот посмотришь.

— Плыви, плыви, — с таинственным злорадством заговорила я, — там тебя мигом схватит Водяной с черными руками, сизым лицом и стеклянными глазами.

Витька смотрел так, будто при каждом слове у меня изо рта выпрыгивали зеленые жабы. Это мне понравилось, и я добавила:

— Сама видала, как он там прячется, чтоб потом кого-нибудь с собой в речку утащить.

— Врешь?!

— Вот ты так соври... — И пошла прочь от него.

Солнце село, от реки потянуло еще большей прохладой. В низинах заколыхался туман. На ужин я получила одну только картофелину, круто посыпанную солью. А мама и бабушка так ничего и не поели.

— Пищу надо экономить, — сказала баба Аня, — может, и неделю цельную придется тут сидеть: чегой-то не слыхать, что где-то поблизости наши воюют.

Мне соорудили постель из еловых веток, и, укладываясь на ночлег, я подумала, что все равно мы здесь хорошо устроились: самолеты мимо пролетают. Посидим день, другой, а там и папка за нами приедет.

«Только вот к речке будет боязно спускаться... Чудище там по берегу гуляет... А по небу нечистая сила летает... Кто же страшнее: самолет или Водяной?» Как уснула — не помню.

Знакомство

Утром следующего дня проснулась поздно. Серые облака, затянув небо плотной пеленой, казалось, ждали только подходящего момента, чтоб пролиться на землю дождем. Я нехотя вылезла наружу из своего «гнезда». Рядом сидел Ивашка и мусолил во рту черный сухарь. Глаза у него печальные, щеки обвисли и побелели. Встав перед ним на колени, я не очень-то весело запела, прихлопывая руками:

— Ладушки, ладушки, где были? У бабушки. Что ели? Кашку-уу...

Брат даже не взглянул на меня, продолжая все так же сосредоточенно сосать высохшую корку хлеба. Мне тоже нестерпимо хотелось есть.

На берегу дымился костер, в центре которого стоял наполненный до краев кипяченой водой закопченный чугунок. Но и он не обрадовал: одной водой сыт не будешь, говаривала моя бабушка истину, которая была мне понятна. А теперь. Нужно разыскать бабу или маму и выпросить у них хотя бы маленький кусочек хлеба. Сверху я оглядела речку. В том месте, где вчера хотела умыться, две женщины, подоткнув подолы, стирали белье. Ни матери, ни бабушки среди них не оказалось. И на противоположном берегу — никого: ни в сапогах, ни без сапог, ни с черным, ни с белым лицом...

«Может, все показалось?..»

Разыскивая родных, я переходила от одной стоянки к другой, но везде находила только малых ребят. И можно было подумать, что взрослые, встав пораньше, разошлись по очень важным делам. А какие здесь могут быть дела?

И вдруг у самой отдаленной сосны я увидала новых беженцев. Одного взгляда хватило даже мне, чтобы понять, что они не такие, как все. Молодая женщина, совсем молодая, в нарядном платье, сидела на блестящем чемодане огромного размера, вытянув вперед загорелые ноги в белых туфельках, и улыбалась мне. Чистая, будто только что из бани, с пушистыми кудрями светлых волос, она в самом деле очень походила на мою любимую куклу, но была во сто крат чудеснее, потому что живая. У ног ее пристроился мальчишка, тоже намытый, причесанный, в матроске, в начищенных ботинках. Первый раз, с тех пор как мы стали бездомными, я подумала о своем виде, застеснялась, хотела уйти прочь, но незнакомка сказала:

— Сережа, смотри, какая хорошая девочка к нам пришла! Ты не желал бы с ней познакомиться?

В ответ Сережа еще сильнее прижался к ее ногам, положив голову на колени.

И тогда она обратилась ко мне:

— Как звать тебя?

— Шура Краскова... можно еще Саша... — смущаясь, ответила я.

— А меня Евгения Алексеевна. А можно просто — Женя. А это Сережа, — она погладила по голове своего буку-пацана. — Саша, Сережа, Женя... Видишь ли, девочка, у нас с тобой мальчишечьи имена, и мы такие же храбрые, как и они. Не так ли?

Я согласно кивнула головой, так как действительно поверила, что я хорошая и храбрая. Ведь об этом говорила такая удивительная тетя!

Тем временем Евгения Алексеевна взяла откуда-то сбоку чемодан поменьше, похожий больше на сундучок, достала пышную лепешку, намазанную сверху вареньем, протянула мне. У меня задрожали руки. Ухватив душистый хлеб, я поблагодарила ее.

2 Заказ 2463

— Ешь, Саша, ешь, — Женя улыбнулась мне еще щедрее и приветливее.

Я не смогла бы даже сейчас описать внешность той женщины, и уверена и теперь, что таких красивых людей мне не доводилось видеть прежде. А сама я точно походила на ту головешку из костра, на которую вчера показывала баба Аня. Но ни вчера, ни сегодня я так и не умылась. И чтоб хоть как-то оправдаться перед новыми знакомыми, вздохнув, сказала:

— Тут в речке Водяной появляется... Страшный такой... Видать кого-то хочет под воду утащить... Может, даже меня...

Евгения Алексеевна рассмеялась:

— Ты что же, видала его?

— Ага, — я понизила голос и выразительно посмотрела на своих новых знакомых, пусть знают, почему бывают неумытые дети. — Глаза у него стеклянные, морда белая, а сам черный... в сапогах.

К удивлению, мое сообщение никого не поразило.

— Сразу ясно, Саша, что ты знаешь много сказок, — сказала Евгения Алексеевна.

— Знаю, — подтвердила я, — но если это сказка, то у Водяного нет сапог, а если на самом деле, то он в сапогах.

Женя задумалась, может быть, то, о чем я рассказывала, действительно выглядело странным.

— Правда, — начала она очень серьезно, — в сказках не бывает так, чтоб Водяной носил сапоги. Но, возможно, ты ошиблась?

— Да не-е, в сапогах он был! — И вдруг вспомнила: — Сапоги желтые и блескучие...

— Ну и Саша! — воскликнула Женя. — Ты и сама можешь страшные сказки сочинять?

— Могу, — с готовностью согласилась я, но, подумав немного, добавила: — Но теперь и так страшно кругом.

Решив, что всем стало понятно, я уселась напротив Евгении Алексеевны и Сергея, спрятала под себя ноги в цыпках и, откусив большой кусок вкусной-превкусной лепешки, начала есть.

Погода менялась почти ежеминутно. Сначала подул сильный ветер. Послышался шум и треск веток в лесу. Край неба постепенно стал чистым, и вот уже луч солнца круглым пятаком упал на нашу стоянку. Сразу стало тепло. Покидать своих новых знакомых мне совсем не хотелось. Я ела сладкую лепешку и рассматривала их, как картинку.

Мальчишка все так же лениво лежал у Жениных ног, мял цветастое с воланами платье, не обращая на меня никакого внимания. И у меня к нему тоже пропал интерес. Куда занимательнее вести беседу с таким человеком, как Евгения Алексеевна, которая сразу стала говорить со мной, будто я ее лучшая подружка.

— А ты всех знаешь, кто здесь вместе с тобой находится? — спросила Женя.

— Отступает? — уточнила я.

— Ну да, конечно же отступает, — она нахмурила брови, пряча улыбку, но глаза ее все равно смеялись.

— Всех знаю. — И я начала перечислять: — Витька Иванов, Галя с Валей, мама, тетя Поля, баба Аня...

— А вот идет, — Женя кивнула в сторону леса, откуда с охапкой сухих веток вышла моя бабушка, — эту женщину ты знаешь?

— Это моя бабушка! — обрадовалась я, что наконец-то хоть она нашлась. — Ее баба Аня зовут! — И я вприпрыжку побежала ей навстречу, чтоб похвастать подарком — уже наполовину съеденной лепешкой.

Бабушка подошла к беженцам, сбросила хворост и не очень-то ласково спросила:

— Дачники, что ль?

— Да как вам сказать... — нерешительно начала Евгения Алексеевна, положив на голову Сергея руку с тонкими пальцами и невероятно длинными блестящими ногтями. — Мы из Ленинграда, сюда, в Псковскую область, приехали ненадолго, но тут началось такое... Просто уму непостижимо, в какую историю мы попали.

— А чего ж постигать, — вздохнула бабушка, — война началась. — Она опустилась на свою ношу и тоже стала разглядывать новеньких. — А я смотрю, вроде не из наших краев. К кому же вы ехали, к сродственникам аль еще кому?

— Если вы хотите знать, кто мои родственники, то близкой родни у меня здесь нет. — Евгения Алексеевна все так же сидела на чемодане — свободно и непринужденно, но говорила с бабушкой по-другому, будто все время жаловалась ей. — Я ехала в Пыжово, чтоб за много лет впервые поклониться праху матери...

Бабушка так и встрепенулась.

— А родители кто будут? Я в тех краях когда-то всех знавала.

— Мои родители, — Женя сделала короткую паузу, — Поповы... Знали?

Некоторое время баба Аня молчала. Было видно по всему, что она озадачена.

Перевязала платок на голове, потом сказала:

— А чего ж не знать... Знала когда-то... Только расстреляли Попова в двадцать седьмом. В сельсовет бомбу бросил, людей поубивал. Так вот, за это его, стало быть, и расстреляли.

— Мне тетка говорила, — Женя вытянулась на чемодане так, будто ее уколола булавка, — отца оклеветали.

— Вот про то не скажу, неведомо мне такое, — засомневалась бабушка и, кряхтя, поднялась. — Но всем известно: Попов у нас наипервейший богач в волости был и злился на Совецкую власть, как собака. — И уже примирительно добавила: — Тут клевещи не клевещи, барышня, а слов, говорят, из песни не выкинешь. — Баба Аня выпрямилась во весь свой рост и теперь сверху смотрела на новеньких. Ветер раздувал ее широкую юбку, в руках она держала дубинку, и мне показалось, что они ее боятся. — А ты, стал быть, Евгенья Лексевна?

— Да, — согласилась молодая женщина.

— Вот оно как бывает, — помыслила вслух моя [illegible]...
[illegible]лько тебе годов было, когда тетка в Питер забрала?

— Наверно, столько же, сколько сейчас вашей внучке.

— Точно, — подтвердила баба Аня, довольная тем, что [illegible] знает, все помнит. — Мамка-то твоя тоже вскорости померла, [illegible] горя, не то от хвори, бог ее знает... Вот тогда, помню, слух [illegible], что приехала из города Евдакея и взяла с собой племянницу, [illegible] как никого другого, кроме Евдакеи, у тебя не оставалось.

— Не оставалось...

Женя и Сергей еще теснее прижались друг к другу. А я с удивлением слушала бабушку, как будто та сочиняла для нас интересную историю, в которой ей хотелось быть главной героиней.

— Мы ведь с Евдакеей в одно время в девках гуляли. Дружить не дружили, а на гулянках и ярмарках встречались. Веселая девка была. За мастерового вышла. Что шуму-то наделала... — И вдруг баба Аня строго спросила: — А это что за мальчонка у тебя?

— Мой племянник...

— А чей сын?

И тогда впервые за все время мальчишка открыл рот и чуть слышно, будто через силу, произнес:

— Племянник...

Может быть, он еще что-нибудь добавил, но снова быстро заговорила Евгения Алексеевна:

— Теперь все куда-то бегут, мы совершенно не поспеваем. У меня чемодан тяжелый, но разве кто поможет? По лесу вообще идти невозможно. Я уже две пары фильдеперсовых чулок изорвала, а где сейчас возьмешь новые?.. — рассказывала о своих трудностях Женя и на глазах у нее блестели слезы.

Племянник, подняв голову, следил за тетушкой, готовый в любой момент вместе с нею удариться в рев.

— Мы три дня добираемся до станции, хотели в Ленинград уехать, но все напрасно...

Бабушка еще раз пристально посмотрела на беженку, сурово спросила:

— А как же ты к нам прибилась? Какой дорогой пришла? Что-то никто не видал, чтоб ты из леса вышла.

— А мы через речку... Здесь чуть повыше... река неглубокая, вброд перебраться можно на другую сторону. — И добавила с легким вздохом: — Только бежать-то все равное некуда, всюду немцы. Одно осталось — просить у них сострадания...

— Ну-ну, идитя, коль охота, да поклонитеся... Вам вся стать.

— Это почему же мне? — удивилась Евгения Алексеевна и перекинула одну ножку на другую.

— Да потому, наверно, что у нас тут и не найдется более таких прытких баб, — пояснила бабушка, — мы все не такие...

— А я какая? — начала сердиться Евгения.

— А ты, барышня, даже на своих батьку с мамкой не похожа...

— Это почему же?!

— Да уж больно видная из себя, а в ихней породе, сколь помнится, таких распрекрасных сроду не бывало. — И ни с того ни с сего начала шуметь на меня: — А ты что тут гостюешь, аль дела нет? Иван оставлен без присмотра. А ну-ка, марш домой! — командовала моя бабушка, позабыв, что у нас не то что дома, а даже шалаша никакого нет.

У костра она остановилась, сбросила хворост. Я протянула ей остаток лепешки:

— На-аа, бабусь, маленько тебе оставила...

Но бабушка скорбно отмахнулась от меня:

— Ешь сама, вам, малым, больше надо, чем старым, а кормить уже сейчас нечем. И когда только своих дождемся?.. — И словно лицо ее свела зубная боль: — На поклон, в полон... Ишь, чаво удумала посацкая! — качала она седой головой.

Мне, напротив, было хорошо и самой захотелось быть хорошей да пригожей. Я сбегала к Ивашке, сунула ему в руки кусок сладкой лепешки, нашла бабин узел, извлекла оттуда мыло и полотенце.

Женщины закончили стирку, развешали белье на ветках кустарника и ушли.

Я сняла платье, намылила лицо, голову, руки, ноги, вошла в речку. Медленно, с головой погрузилась в воду и тут же вылетела наверх.

Кто-то говорил мне:

— Ти-ишь ты... не бузуй...

От неожиданности хотела закричать, но увидала Витьку Иванова. Согнувшись крючком, он водил по воде носом и пристально вглядывался в речное дно.

— Не мути... — еще раз предупредил он, поравнявшись со мной.

— Что ты делаешь?

Раскорячившись, держа руки ухватом, Витька натягивал край рубахи. От давления та дулась пузырем, давая возможность и лещу и плотвичке беспрепятственно входить в чудную сеть. Но рыба, постояв у Иванова под самым носом, уплывала туда, где поглубже.

— Врешь, не уйдешь, — приговаривал он всякий раз.

Галя с Валей, взявшись за руки, шлепали по воде за братом.

— А ну, пошли на берег! — прикрикнул на них Виктор. — Сколько вам говорить, не ходите за мной, не пугайте рыбу!

Девочки остановились, обе в розовых платьицах, белоголовые и мокрые с головы до ног.

— А мы мамке скажем, — строго сказала одна из них.

— Скажем, — повторила другая.

Они так походили друг на друга, что вряд ли кто сразу мог угадать, которая из них Галя, а кто — Валя.

— Я вам скажу, — пригрозил брат кулаком. — Что вам мамка сказала? Светку нянчить, а вы за мной все утро гоняетесь.

Сестры обиженно поморгали глазами, потом не то Галя, не то Валя сказала:

— А мы рыбы хочем...

— Вот глупые, рыбу ж поймать надо.

Поняв, что сестер все равно не заставишь уйти, Виктор решил схитрить:

— Вы идите на бережок... грейтесь на солнышке... смотрите в речку... и не двигайтесь. Рыбка сама приплывет к вам... и большая и маленькая.

Галя с Валей постояли, подумали и, не разъединяя рук, уселись на теплый песок у самой воды.

— Приплывет? — глядя на воду чисто-голубыми печальными глазами, переспросили они.

— Точно приплывет, — заверил их брат.

И девочки стали ждать.

— Может, и мне ловить рыбу? — подумала я вслух.

— Тогда давай платье, — сразу предложил Виктор.

Он завязал узлом воротник и рукава, дал один край подола мне, себе взял другой и опустил новый бредень в воду.

— Как увидим рыбу, раз-зз — и в ловушку! Смотри не зевай! — И он наглядно объяснил, что я должна делать, чтоб мы поймали мешок рыбы, которую можно есть и жареной, и вареной, и просто соленой. От нетерпения у Витьки дрожали руки. — Я ведь не ел сегодня... Жрать хочу знаешь как!..

— А где тетя Поля?

— Так она с твоей мамкой на хутор пошли еду добывать. — Виктор встал сегодня раньше, поэтому знал больше.

— Какую еду?

— Какая будет, хоть картошка, хоть крупа, хоть мука... Есть-то все равно нечего.

Я не удержалась и похвастала:

— А ты знаешь, какую вкусную-превкусную лепешку мне дала новая тетя? Ее Женя зовут...

— Нашла о ком говорить, — от великого презрения Виктор сплюнул, — она ж помещица.

— Какая по-ме-щи-ца?

— А вот такая... — Он бросил край платья, встал руки в боки, запрокинул голову назад и сморщил нос так, словно ему ударило дурным запахом в лицо. — Поняла?

— Поняла...

— Сидит и только ждет, чтоб опять народ голодом морить и заставлять всякие дела делать.

— Правда, Витька, правда! — говорила я, удивляясь словам не только соседа, но и своим тоже. — Она сидит... на чемодане. А может, даже сидит и ждет... Точно ждет!

— Ладно, — махнул рукой Виктор, — хватит болтать, пошли!

И мы двинулись против течения. Шли медленно, передвигаясь так, чтоб не было слышно плеска воды. Я находилась ближе к берегу, Виктор — дальше, поэтому обоим вода оказалась по пояс. Наклоняясь вперед, старались держать платье как можно ниже, и оно раздувалось голубым колоколом.

— Врешь... не уйдешь...

А щука будто дразнилась, бросаясь в любую сторону, но только не в нашу снасть. Мы все дальше и дальше уходили от Гали с Валей.

Большую щуку увидели одновременно. Зеленовато-стального цвета, обрызганная черными крапинками, она стояла в водорослях и только чуть шевелила плавниками. Должно быть, хищница сама устроила на кого-то засаду.

— Го-оо-тов-сь, — прерывисто выдохнул Виктор.

Распластавшись по-лягушачьи, он все глубже и глубже уходил под воду, осторожно подтягивая необычный бредень и меня вместе с ним к острой щучьей морде. Но вот рыба вздрогнула, и в тот же миг мой напарник так рванул платье, что я с трудом удержала свой край. Со дна поднялся темный ил, а в нашей снасти бешено металась сильная рыба.

— Витька!

— Шурка! Поднимай платье выше... к берегу... тащи!..

Но вдруг что-то насторожило меня. Я подняла глаза к небу: над рекой висел самолет-рама.

— Витька!!!

Бомбы просвистели почти одновременно с моим криком. Сильно грохнуло, и столб воды взметнулся вверх.

Меня ударило волной, сбило с ног и закрутило в водовороте, но, к счастью, тут же отбросило к берегу. Из ушей, носа, рта лилась вода, задыхаясь, я непрерывно кашляла.

Виктор вынырнул где-то на середине реки, приплыл ко мне без платья и без щуки.

— Вот гад, — плевался он, — всю рыбу распугал...

Но меня волновало другое.

— Галя... Валя... — с трудом проговорила я.

И мелкая дрожь охватила все тело мальчишки, он смотрел на меня, не двигаясь с места. Тогда я взяла его за руку и повела туда, где оставались девочки.

В образовавшейся у берега воронке кипела черная вода, вверх брюхом всплыло много оглушенной рыбы. Кувыркались блестящие коряги, на деревьях повисли водоросли. Ни Гали, ни Вали не было. Виктор наконец-то пришел в себя, понял, что их нужно разыскивать. Он обшарил кусты, сбегал на стоянку, вернулся обратно. Взрослые тоже вышли на берег. Девочек начали искать в реке.

Через некоторое время их тела всплыли.

«Почему мы забываем про войну? Забываем, что теперь все стало не так», — плакала я.

Подошла тетя Поля, охнула и как подкошенная повалилась на землю. Ей брызгали в лицо водой, подняли, посадили. Она открыла глаза, посмотрела на речку и снова безжизненно повисла на руках у женщин. И как только ее приводили в чувства, моя бабушка требовала:

— Полина, голоси! Кричи в голос, полегчает!

Полина Егоровна стонала, мотая головой, и снова впадала в забытье.

[illegible] с Валей похоронили на песчаном бугре, в могиле, вырытой [illegible]. Одна только Евгения Алексеевна не приняла в нашем горе никакого участия. Она не отходила от своего племянника, у которого, как говорили, не переставая шла носом кровь.

— Должно, малец уже повидал такого страху, что не приведи господи, — сказала бабушка и задумалась. — А из Пыжова ль они идут?

Леший

Мне все стало неинтересно: и наше переселение на новое место, подальше от речки в глубь леса, и румяные безоблачные закаты, и бодрящие рассветы. По утрам я последняя покидала место ночлега, а вечером первая залезала в шалаш. Мать одела меня в свое платье и как будто вместе с ним накинула на плечи свои думы и годы. Ничего не хотелось делать.

Ни разу я не навестила и новых беженцев. Только издали иногда наблюдала, как Женя ходит купаться, в длинном халате, с пушистым полотенцем через плечо. Рядом всегда крутился Сергей в белой рубашке, будто собранный к какому-то торжественному часу.

«Дачники, — мелькала в сознании злая мысль, — по-ме-щи-ца...»

На могиле утонувших девочек я встречала Виктора. Он все время что-то делал здесь: насыпал холмик, обкладывал его камнем, раскладывал веточки земляники, черники.

Мы не разговариваем с ним и, я думаю, никогда больше не заговорим, потому что после гибели его сестер болтать о том да о сем — невозможно. Я иду прочь. Хожу по лесу в поисках ягод. Но есть хочется постоянно, даже тогда, когда перепадает что-нибудь: картошка, сухарь или мучная похлебка.

— Ахти, лихо, — сокрушается бабушка, — пропадут наши детки от голода.

Мать молчит. Ее усилия раздобыть что-нибудь из еды оказались напрасными. Пойти на хутор или в селение стало делом опасным: поговаривали, везде теперь хозяйничает «немец». Необычайно длинные и тоскливые дни начали сменять друг друга, а в нашей жизни ничего не менялось. Это заставляло как-то особенно остро чувствовать, что мы здесь одни, всеми позабыты и, наверно, никому не нужны.

Однажды я не выдержала и подошла к Жене и Сергею. Мальчишка держал в руке ломоть хлеба, посыпанный сверху сахарным песком. Евгения Алексеевна молча взяла у него душистый сладкий кусок и разломила пополам. Одну половину протянула мне. Я ждала: Сергей закричит, начнет требовать, чтоб ему вернули все, может, даже ударит меня. Но он и не взглянул в мою сторону. Принял свою долю и начал задумчиво слизывать крупинки сахара, как будто то, что произошло, — сущие пустяки. От великого изумления у меня ноги приросли к земле, я стояла и смотрела на странных людей.

— Вот, Саша, какая штука, — начала Женя так, словно продолжала разговор, — жить надо обязательно.

Я согласно кивнула головой, оберегая свой кусок, чтоб с него не упала ни одна крошка. А Женя, глядя куда-то в сторону поверх моей головы, продекламировала нараспев:

— Смерти — не боюсь, жить ни за что не откажусь, когда придет мой час расплаты!

Меня охватила непонятная тревога. Потому что Евгения Алексеевна верила в то, о чем говорила, а сказала она о таких вещах, о которых и думать страшно. И я поспешила к своим.

Баба Аня тоже разломила хлеб, одну часть отдала мне, другую положила в кружку с кипяченой водой, размочила и начала кормить Ваню.

— Совсем недюж стал наш мужичок, на ноги неделю как не встает, а теперь и ползать перестал. — Из глаз ее полились слезы. — Скоро ль наши мученья кончатся, матушка-богородица?

Все переменилось в тот день, когда на нашей стоянке появился необыкновенный старик. Никто не видел, откуда он пришел к нам: то ли со стороны леса, то ли от речки, но все услыхали утром его басистый голос. Он бранил женщин:

— Ну и бабы, ну и кочережки! Да чтоб вам пусто было! Сами от голода валяются и ребят заморили. Вы чего ждете-пождете! Свинью на вертеле? Так ни хрена вам, ни редьки!

Мы с бабушкой тоже поспешили к незнакомцу, и она с ходу встряла в разговор:

— Что же ты предлагаешь, мил человек?

— А то и предлагаю... — «Мил человек» скрутил папироску, подождал, пока вокруг него не собрались все — от мала до велика, сказал: — Здесь недалече, у реки, бывшее колхозное стадо бродит, так хозяйки должны взять себе по корове...

— Да ты что говоришь?! — начала с крика одна из женщин. — Или не разобрался еще, как мы тут живем?

— Вот потому и толкую, что вижу, как вы тута курортничаете, — всем назло усмехнулся дед.

Женщины ахнули от таких слов, но старик не смутился и продолжал:

— Животным уход нужен, потому как пропадут без присмотра, а вы без них пропадете.

На него посыпались вопросы, словно шишки с сосны, которую он сам тряхнул над своей головой: «А зачем? А где? А когда?» Только я одна как открыла рот, так и не закрою никак, стою и смотрю на деда... А борода у мужика длинная и белая-пребелая, будто снеговая. Черный пиджак поверх рубахи-косоворотки, широкие штаны заправлены в светло-желтые сапоги, начищенные до блеска. Он машет темными, почерневшими от работы и солнца руками. Вертит головой туда-сюда, борода развевается веером, и кажется, что это лицо у него такое белое. Сам дед — худой, небольшого роста и крутится, как юла.

— Вы только подумайте своей головой, — старается объяснить

[illegible] — [illegible] здесь [illegible], [illegible] как только у фашистов [illegible] считайте, что вас и не было на [illegible].

[illegible] смотрят на него испуганно, но все равно недоверчиво. [illegible], что за старик. Верить каждому встречному в лесу не станешь.

— Так вот мой совет: берите коров – и по домам! – приказал дед.

И тогда вперед вступила моя бабушка — Анна Андреевна.

— Ладно, мил человек, уговорил. Коров мы возьмем, а дальше видно будет.

Старик стремительно развернулся к бабушке, и я увидала его глаза: сердитые, с мохнатыми нависшими бровями.

«Водяной!» — обеими руками я ухватилась за бабину юбку.

— Исполним мы твой наказ, — сказала баба Аня. — Так где, говоришь, брошенное стадо пасется?

Старик показал направление и обрисовал местность.

— Должно, на Марьиной луговине, — заключила бабушка.

— А хоть на Марьиной, хоть на Дарьиной, мне — все одно, — сказал незнакомец, — я ведь нездешний.

— Из каких же краев будешь? — начала главные расспросы баба Аня, без которых считала разговор — пустым, и знакомство — не состоявшимся.

— Идрецкие мы... Бросил домишко, надворную постройку и побёг как дурак, сам не знаю куды... А кому я был бы нужен — старый одинокий человек? Это я уж после образумился, когда отчесал верст пятьдесят. Во, страх-то что с людями делает... — Старик обмяк, снял кепку и вытер ею лицо. Голова его была такая же белая.

«Седой, будто Дед Мороз на новогодней елке». Я придвинулась немного поближе.

— А зовут тебя как? — снова спросила бабушка.

— Гаврилой, сударушка, Гаврилой, по батюшке Прохорович, по фамилии Забродин, — охотно отвечал дед. — Сколько рукомесел знал, всем, бывало, угожу: хоть сапоги тачать, хоть самовары паять. А теперь — бобыль, гол как сокол, только веселиться все одно не с чего.

— Погоди-ка, мил человек, — начала уговаривать его баба Аня, — ты не страдай так. Бог даст, неделю-другую продержимся, а там и красные придут.

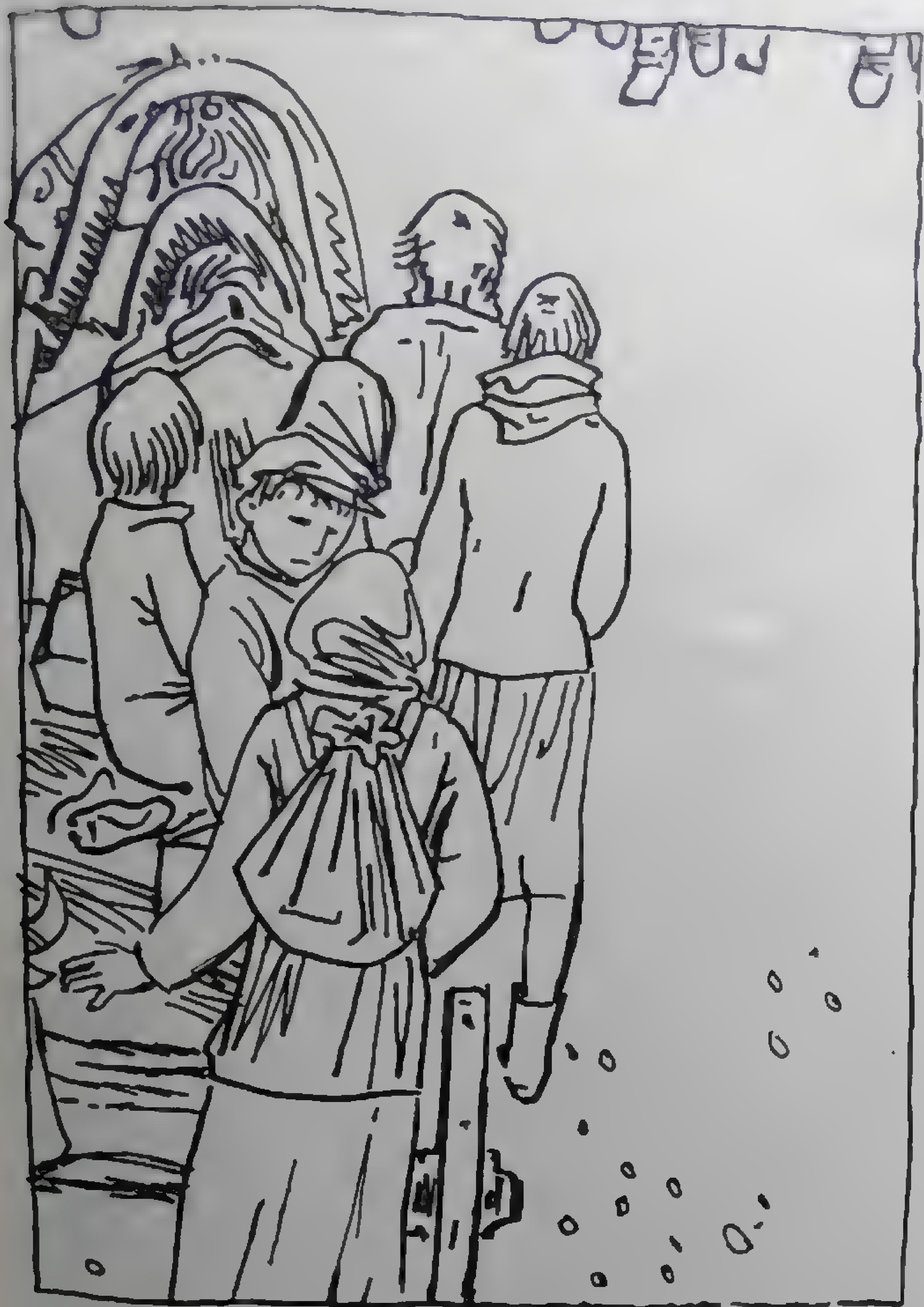
— Надейси, старая, надейси, — дед выкурил самокрутку, бросил коротюсенький окурок в песок и растер каблуком, — только скоро все одно не дожидайси...

В разговор опять вмешались женщины, начались новые расспросы. И старик поведал о том, что сила на страну навалилась великая, Красная Армия побита и отошла аж к самой Москве.

— Что было, то прошло... Вот теперь как жить будем?

Ему никто ничего не ответил, все начали поспешно расходиться, я осталась с дедом один на один.

— А ты что, остроглазая, смотришь? — грозно осведомился он. —



[illegible] — Старик бригадира ко[illegible]
[illegible] сразу [illegible]

Осмелев, я ответила:

— А я, деда, думала, что ты Водяной.

Старик неожиданно рассмеялся, тихо, но, видно, от души.

— Перепутала ты, дочка, маленько, не Водяной я, а Леший, — он наклонился ко мне, — бегаю по лесам, по деревьям прячусь. Куда ни пойдешь — всюду меня встретишь. — И он подмигнул хитрым и озорным глазом. — Только язычок, чур, на замок! Поняла?

— Поняла.

— Ну и добро! — Он махнул в сторону, где в кружок собрались женщины, и поинтересовался: — А чтой то бабы так раскудахтались?

Я только на минутку отбежала послушать, что решат женщины — брать коров или не брать, а старика уже и след простыл.

Однако дед правду сказал: в двух километрах от нас гуляло бесхозное стадо. Мама с бабушкой собрались идти за коровой вдвоем.

— Выберем самую лучшую. Я на своем веку много их перевидала, — говорила баба Аня, — в семь лет за скотиной начала ухаживать, не то что теперешние... — Наверно, она имела в виду меня, но рассуждать о том, кто какой, не оставалось времени, и они ушли.

Ждать пришлось недолго. Еще издали я услыхала мычание. Выбежала навстречу и обомлела от счастья: на поводке, сделанном из длинного вафельного полотенца, мама вела бурую корову! Бабушка шла с хворостиной сзади. Но погонять буренку совсем не было нужды, она сама шла к людям. Огромное вымя болталось, как надутый шар, и корова спешила на дойку. Мать поставила ее в тени, скинула полотенце, протянула маленький засохший хлебец.

— Хозяев будет знать.

Буренка, величаво вознеся рога, еще раз трубным ревом потребовала, чтоб поспешили с дойкой, и слизнула сухарик с ладони.

— Кормилица, да ты спасительница наша... — говорила мама, поглаживая крутые бока коровы.

Бабушка из припасенных вещей отыскала самую нужную — объемное ведро. Она принесла теплой воды, вымыла вымя, вытерла чистой холщовой тряпицей и начала полегоньку доить.

И вот первые желтовато-белые струйки жидкости упали на землю, а потом зазвенели, ударяясь о стенки ведра. Цыр-цорк... цыр-цорк... Головокружительный аромат трав, парного молока — все смешалось. Цыр-цорк, цыр-цорк... Белая душистая пена в ведре поднималась все выше и выше.

— Раздоится, так по цельному ведру зараз будет давать, корова удойливая, — сказала довольная бабушка. — Как звать-то нашу буренку станем?

— Звездочка! — радости моей не было предела. — Ты посмотри, бабусь, она вся темная, а на лбу белое пятнышко, будто звездочка светится!

— Да ее, должно, так и кликали, — согласилась бабушка, — и по всем ее повадкам видать: в любом стаде она — командирша. Все не

[illegible] оказаться, что остальные за ней тянулись. А [illegible] будто только и ждала, когда я появлюсь. Идет навстречу, мычит: «Где ты, мол, хозяйка, запропастилась?» Стало быть, она меня выбрала, а не я ее.

— Звездочка... Звездушка красавушка... — Я глажу морду буренки, а она время от времени лижет мою руку.

— А ну-ка, внученька, кружочку молочка, — предлагает бабушка, как когда-то в добрые времена.

Выпив пол-литра парного молока, сразу почувствовала сытость, и мне показалось, что никакой войны не было и нет. Скоро мы вернемся домой, а там нас будет ждать отец... Закрыла глаза, потом открыла их и вижу: к нам подошла тетя Поля. Почерневшая, постаревшая, она тяжелым взглядом окинула бабу, маму, корову, меня...

— Что, соседки? Два века решили жить? Хватаетесь за все. Скотину завели, а через день-другой всем нам один конец будет.

Мы с матерью потупились, не хватало духу смотреть на эту женщину: и боязно, и жалко, и больно. Но наша бабушка ко всему относилась по-другому, поэтому начала строго:

— А ты, матушка, на нас, простых людей, не серчай, не виноваты мы перед тобой и твоими детьми, нам жить охота. И ты живи, Полина, у тебя еще двое деток, об них подумай.

— Ох-хх! — Тетя Поля вскинула руки на грудь, уцепилась пальцами за ворот, рванула так, что затрещала материя. — Ох-хх! Тяжко, Андреевна! Не сердце у меня теперь, а пудовый камень... — Она медленно осела на землю.

— Ты молочка возьми, — продолжала бабушка, словно ничего не видала и ничего не слыхала, — а может, решишь коровенку завести.

— Ничегошеньки не надо... — простонала Полина Егоровна. — Уплыли от меня рыбки золотые... детки мои ненаглядные... Враг ненавистный... бедой черной небо выткал... солнце яркое занавесил!.. — голосила тетя Поля и будто втягивала нас в водоворот своего великого горя. И нам ничего другого не оставалось, как из последних сил тянуть головы вверх, чтоб не захлебнуться в этом горе.

Прибежал Виктор, взял мать под руки, силясь поднять ее.

— Пойдем, мамка, пойдем!..

— Не трогай ты ее, сынок, — попросила бабушка, — пущай выплеснет все наружу, полегчает.

Из глаз женщины еще сильнее полились слезы. Наконец Полина Егоровна затихла, потом устало поднялась с земли, взяла молоко и пошла кормить малышку.

Виктор облегченно перевел дыхание, а сухие глаза его затуманились. Он подошел к буренке и погладил ее плотную в больших складках шею. Животное фыркнуло, но не отстранилось. Тогда мальчишка, положив руки ей на спину, прижался к корове грудью.

— Теплая... — голос его дрогнул, он закрыл глаза, — теплая и добрая.

— Смотри, смотри, Витька, — заверещала я, обрадовавшись.

[illegible]ле стольких дней он заговорил со мной, [illegible] какие рога [illegible] витые! Звездочка-краса...

Виктор зашел спереди:

— Морда у нее умная... Ничего не боится.

— Ага, и молока много дает... удой-ли-вая...

— Я б тоже взял корову, да мамка не велит, — вздыхает Виктор.

— Шура-аа! — зовет меня бабушка.

Она процедила остатки молока в белую эмалированную кастрюлю, которую бережет пуще глаза, потому что та единственная, и приказала:

— А ну-ка, внучка, отнеси свеженького молочка Явгенье Лявсевне!

— Не понесу, — вдруг заявляю я, уверенная в своей правоте.

От моих слов баба Аня остолбенела, но тут же справилась с собой и грозно осведомилась:

— Это почему же ты не понесешь?!

— Потому... — я выдерживаю паузу, чтоб удивить ее еще больше, — потому что она помещица, сидит и ждет... чтоб на нее другие работали.

Баба так и всплеснула руками:

— Ах ты, свинка заморская! Да ты забыла, что ль, как она тебе хлеба подавала?

— Ну и что ж, подумаешь... — такой ответ, как мне кажется, делает меня еще самостоятельнее, еще взрослее.

Но баба и не думает с этим считаться. Не вступая больше в пререкания, она хватает ветку, которой погоняла корову, и стебает меня раз-другой ниже пояса.

— Я из тебя дурь-то выбью! — заверяет она.

Виктор стоит рядом и не думает за меня заступаться, смотрит на все такими же печальными, как у буренки, глазами и молчит.

— Да ты ж сама говорила, что она не наша, — напоминаю я бабушке.

— А ты держи язык за зубами, лучше будет! — снова налетает на меня баба Аня. — А то наслухается всякой всячины.

Она отбросила хворостину, взяла кастрюлю и, держа ее перед собой, понесла Евгении. Того гляди, зацепится за что-нибудь и упадет.

Мне жалко мою старую бабу.

— Давай уж... — я забираю молоко и несу сама.

Витька не отстает от меня, идет сзади.

«И все-то ему надо знать», — сержусь я.

Женя встретила нас приветливо. Она сменила прическу, уложив волосы вокруг головы высоким валиком, и платье на ней другое, лучше прежнего.

— Молоко — это замечательно! — говорит Женя и обращается к равнодушному ко всему на свете племяннику: — Сергей, будешь каждый день пить молоко — станешь большим и сильным...

Мальчишка вздрогнул так, словно не меня пять минут назад, а его только что сильно стебанули березовым прутом.

— Откуда вы это знаете, тетя?!

— Об этом известно всем, — смеется Женя, — молоко полезно.

— Нет! — задыхаясь, кричит Сергей. — Нет! Я не так хочу спросить! — Глаза его широко открыты, пальцы рук сжаты в маленькие костлявые кулачки.

Женя хватает мальчишку за плечи и привлекает к себе.

— Ну-ну, ты что... — и она гладит его светлые волосы.

Сергей обмяк в ее объятиях и чуть слышно прошептал:

— Откуда вы знаете, что так говорил мой папа?

— Знаю... я вообще все знаю... Я ведь твоя тетя. Ты меня сразу узнал, помнишь?

— Помню, — и крупные слезы одна за другой покатились по щекам Сергея.

— А не пойти ли нам и не посмотреть ли на коров? — вдруг ни с того ни с сего весело предлагает Женя. — Это же так интересно!

Я пожимаю плечами, ребята тоже молчат.

— Ну тогда будем пить молоко! — радостно говорит она.

Витька дергает меня за косу, я догадываюсь, зачем он это делает. Мы уходим.

— Никакая она не помещица, — делюсь я с соседом своими впечатлениями, — глупая она. Придумала: «Посмотрим коров, посмотрим коров», — передразниваю я, — а того не соображает, что в таких платьях коров сроду никто и никогда не смотрит, чтоб не перепугать, правда, Витька?

Виктор помолчал да и сказал вдруг:

— Воровка она, украла пацана... вот посмотришь...

«А деда-то тоже поостерегаться надо, — подумала я, потрясенная словами Иванова, — видать, и он ворует ребят, так как бы меня не утащил...»

Обратный путь

В другой раз дед Гаврила появился на нашей стоянке, когда зарядили частые и назойливые дожди. Теперь мы мерзли и днем и ночью, не имея никакой возможности согреться, так как из-за облаков солнце не проглядывало даже в полдень, а жечь костры опасались. В промокших башмаках и одежонке женщины и дети вышли из-под веточных укрытий к старику, дивясь его новому решению: дед ехал в город к немцам.

Шустрая мохнатая лошадка, запряженная в телегу, переступала с ноги на ногу и непрестанно качала головой, словно раскланивалась перед публикой. Кобылка была так мала, а крестьянские дроги так велики, что казалось, остановившись, она уже ни за что не сдвинется с места.

— Во купил какую животину! — похвалялся дед Гаврила, любовно поглаживая морду лошади. — Сторговался с одним мужичком и

деньги, какие имелись, вместе с кошелем за нее отдал. Ан не жалею, потому как думаю домой податься, к своей хатке, как родной матке.

— Энто как же ты мыслишь, мил человек, такое дело проделать? — поинтересовалась моя бабушка. — Вторую неделю мы в лесу сидим, ничего не ведаем. Возможно ль такое, чтоб домой вернуться?

— Возможно, сударушка, возможно. Нашей власти, правда, не стало, однако ж фашисты установили свои порядки.

И в то раннее утро, помню, шел мелкий моросящий дождь. Покрытые темными платками, сгорбленные женщины молча слушали старика, и только Анна Андреевна — по праву старшей — продолжала задавать вопросы.

— Что ж за порядок такой, ты знаешь, Гаврила Прохорович?

Гаврила Прохорович от непогоды не горбится, он вообще не замечает дождя: спину держит прямо, бороду лопатой кверху, пиджак распахнутым.

— А порядок такой: он — фашист — полный хозяин, а народ наш — в его подчинении. Разговаривает не по-нашему, а что прикажет — все одно исполнять должно, иначе... смерть.

— Убивают?! — ужаснулись женщины.

Но бабушка не поверила старику.

— Энто как же он приказывает, — засомневалась она, — ежели сам по-русски не говорит?

— Ан приказывает, и даже очень просто: наган, али другую какую пушку, на тебя наставит, вмиг все уразумеешь. К тому же и пособники у него есть, те, которые пособляют, полицаи к примеру...

— Это что ж за пособники такие?! — не стерпев, закричала одна из беженок. — Они — фашисты проклятые — наших детей убивают! Мужиков в крови, в поту на край света загнали. Мы без крова остались, а может, и жизни нас лишат. А им еще и помощники находятся?! Это про что ты болтаешь, лунь болотный?

Дед выслушал ее внимательно, но на вопросы отвечать не стал. Снова так стремительно развернулся к моей бабушке, что та в испуге отшатнулась от него.

— А я, сударушка, хоть осуждай, хоть на руках качай, а все одно за тобой приехал. — Дед стеганул по голенищу своего самодельного сапога. — У немца приказ вышел, чтоб все из леса выходили, так я порешил не один сдаваться, а с молодой. Все новой власти больше прибытку. — Он стеганул второй раз по телеге. — А вот моя карета. садись, не пожалеешь.

— Нашел время шутки шутить, — отмахнулась от него бабушка.

Но дед Гаврила, приосанившись пуще прежнего, выгнув грудь колесом, сделал еще более свирепое лицо.

— А ежель я сурьезно?

— Тады которая помоложе выбирай, чтоб было кому тебя похоронить. А с меня какая польза?

— Есть резон, сударушка, есть. За молодку-то, как мужик вернет

ся, бороду мою сивую да головушку кудлатую так расчешет, что один дух останется.

— А вернутся ли они, наши мужья?... — вслух подумала мама. Небольшого роста, худенькая, за эти дни она стала еще ниже и еще тоньше. В слабом голосе ее прозвучала такая печаль, что дед Гаврила на какое-то время поник головой.

— А ты, дочушка, — посоветовал он, — дожидайся хорошего конца.

Глядя на деда, я все больше убеждалась в том, что воровать он меня не станет, поэтому прятаться за бабину юбку не было никакой необходимости. Однако на всякий случай я остерегалась.

«А может, он и правда Леший? Так нельзя же про то никому сказать. Язычок на замок...» — я не столько осознавала, сколько чувствовала в этих словах какую-то большую, почти сказочную тайну.

— Эко я разболтался, — засуетился дед Гаврила, — а надоть поспешать, время, поди-ка, уже позднее, — он глянул на небо, — около семи утра.

— А не забоишься, как немца встренешь? — снова поинтересовалась бабушка. — Что басурману объяснишь, коль он ничего не понимает?

— Я теперь, сударушка, и по-ихнему могу сказать, — дед снова приосанился, — «нахавузе» значит «домой». Все так и говорят: «Нахавузе» — и идут кому куды требуется.

Где шуткой, где прибауткой, а где и серьезно Гаврила Прохорович рассказал нам, что хотел поведать, а о чем умолчал, то при себе оставил.

— У немца, брат, так: кто приноровился, тот и сгодился, — удовлетворенно погладил он бороду.

— Нет, мы не можем рисковать, у нас дети, — заговорила одна женщина. — Будем где-нибудь по хуторам да по деревням определяться. Лес близко, спрятаться в любое время можно.

— Прятаться — тоже дело, — одобрил дед Гаврила и начал проверять упряжь.

Неожиданно подошла Евгения Алексеевна с Сергеем. Она уронила на землю чемоданы.

— Дедушка, голубчик, возьмите с собой, нам в город нужно, — попросила она, — племянник мал еще, да и чемоданы тяжелые, пешком нам не добраться.

На ней надет черный блестящий плащик, над головой, прикрывая и своего пацана, она держит широкий зонт.

— Я хорошо заплачу вам... — И она стала открывать бордовый ридикюль, украшенный тонкими резными никелированными пластинками.

Дед остановил ее.

— Это опосля, барышня, а пока будешь моей должницей.

— Я всегда рассчитываюсь сполна, — весело сказала Женя.

Гаврила Прохорович гукнул и начал укладывать чемоданы.

Теперь все смотрели только на Евгению Алексеевну. Смотрели

…ла, но это, оказывается, еще хуже: смотреть и ничего не говорить. Ведь они злились на нее, это было видно по глазам. И тогда впервые с женщинами заговорила она сама.

— Где-то и как-то надо устраиваться. Сначала поживем в городе, а со временем, может быть, удастся уехать в Ленинград. — Женя тряхнула головой и так же весело добавила: — Война, а жить надо.

— А ну-ка, подавай сюда мальца! — приказал старик.

Евгения Алексеевна одной рукой легко подхватила Сергея и поставила его на телегу. Из сена и веток ели соорудили сиденье, и аккуратный мальчик с печальным лицом, тяжело вздохнув, покорно опустился на него.

— Ахти-ии, что делается, — тихо откликнулась на его вздох бабушка.

Дождь прекратился. Женя скинула плащ, рассыпав по плечам густые блестящие волосы, поправила белую узенькую юбку и пышную цветастую кофточку. Маленькие ноги ее, обутые в спортивные туфли, обтягивали фильдеперсовые чулки. Здесь — в лесу — казалось, ей было легче и беззаботнее других, но почему-то она первая покидала нас.

— Баб, а чего они уезжают? — спрашиваю я.

— А тех, внученька, что первыми поспешают, люди потом долго поминают, кого добром, а кого иначе, — ответила баба Аня загадкой, на которые была мастерица.

Но вот дед Гаврила натянул вожжи, лошадка вскинула голову...

— Трогаем!

И тут к отъезжающим кинулась тетя Поля. С непокрытой головой, в платье, промокшем насквозь, с серым лицом, женщина прижимала к груди темный отсыревший сверток, не в силах толком объяснить, что случилось.

— Люди... добрые... помирает... Спит моя Света, спит... Стала будить ее... она вся огнем пылает... уж и глазки не открываются... Лежит как пласт... — Полина Егоровна протягивает на обозрение сверток, но никому в руки его не дает.

Дед Гаврила подошел к ней, не говоря ни слова, почти силой взял ребенка, освободив от платков и кофт. У девочки лицо пунцовое, рот пересох, под глазами синие круги. Голова не держится, она с трудом переводит дыхание.

— Простудилась...

— Должно быть, ангина...

— А если это воспаление легких?

— Температура очень высокая, надо сбить ее... — переговаривались женщины, а тетя Поля металась вокруг, размахивая руками.

— Может, в городе помогут... Может, там какой-никакой дохтур остался... — едва проговорила бабушка, а Полина Егоровна уже встала перед ней на колени.

— Андреевна, будь ты мне за родную мамку! Не оставь нас. Тут же отползла от нее и обеими руками ухватилась за мою маму: Феня, наши мужья вместе на фронт ушли... Неужто не поможешь мне в такую минуту? Пропаду я без вас...

— Встань, Полина! Встань сейчас же! — гневно крикнула мама. — Ты что про нас думаешь, не люди мы? Витька, Шурка, несите узлы, поехали!

Собирались недолго. Корову привязали к телеге, нас — ребят и бабу Аню — усадили на телегу, и лошадка тронула, легко, без всяких усилий потянула свой груз.

Помню, вначале я очень радовалась, что мы наконец-то возвращаемся домой. И чтоб знали об этом другие, весело сказала:

— Дома-то хорошо будет! Там и тепло и сухо, а если есть захочется, так на плите всегда суп стоит, ешь сколько надо. Вот как хорошо дома!

Но вместо того, чтобы похвалить меня за то, что я все знаю, баба толкнула в спину и вполголоса сердито проговорила:

— Помолчи-ка ты, внучка, недосуг твою болтовню слушать. До дому еще доехать надоби.

На коленях ее, прикрытых длинной поблекшей юбкой, лежала маленькая Светланка, к боку прижимался чем-то напуганный Ивашка. Рядом идет тетя Поля и время от времени дотрагивается до дочери, проверяя, дышит та или нет. Моих слов Полина Егоровна, должно быть, и не слыхала. И у матери такой же неспокойный и тревожный взгляд: то ли она за нас волнуется, то ли за корову, которая упиралась и вначале совсем не хотела идти на привязи за телегой. Нет, радоваться тому, что мы возвращаемся домой, почему-то никто не хочет. Даже Витька, пристроившись на самом краю дрог, так согнул спину и опустил голову, что кажется, плачет. Все теперь стали не такие, как прежде: бабушка все больше сердится, мама молчит, как будто ей в тягость лишний раз слово сказать, а про тетю Полю я и не говорю. И смотрю на Женю...

Молодая женщина легко шагает по краю дороги, развернув плечи и откинув голову назад. По лицу видно, ей не о чем тревожиться и нечего бояться.

«Так она ж чужая...»

Дед Гаврила понукает и стегает кнутом по широкому голенищу своего сапога. Кобылка всякий раз передергивает ушами, встряхивает гривой, но шага не прибавляет, и у него есть возможность поговорить.

— Теперь, бабоньки, вы в полном моем подчинении, а посему слухаться меня должны, что своего енерала. Прикажу не дышать — и чтоб ни-ни, замри и дожидайся другого приказу. — И он командует грозно: — Рота моя, бойся меня!

Но его шутке даже никто не улыбнулся.

Мы едем по той же дороге, по которой несколько дней тому назад уходили от страшного «немца».

Мокрое шоссе безлюдно. С двух сторон шумит лес, перекликаются птицы, да поскрипывает телега.

«Где ж «немец?» Может, его и нет вовсе?»

И вдруг за поворотом мы увидали все тот же зеленый грузовик, колесами кверху, с развороченным капотом и разбитой кабиной.

— Ах ты, господи! — простонала Полина Егоровна. — [illegible] …тый воин лежит...

— Молчи, Поля! — негромко, но властно потребовала моя мама. Однако Полина Егоровна не хочет молчать.

— Ведь сердце разрывается, глядя на наше горе! Это как же так?! — в голосе ее слышится отчаяние.

— Перестань сейчас же! — мама с силой дергает соседку за рукав. — Люди чужие, а ты...

Тетя Поля тяжко переводит дыхание и замолкает. Все смотрят на машину, и я тоже.

«Погибший воин лежит...» Вспоминаю отца. Мне не хочется, чтоб он вот так же лежал где-то при дороге в кювете: одинокий и неподвижный.

— А-аа быть того не может, что утеряли от жалетки рукава! — некстати весело басит Гаврила Прохорович.

Автомашина скрывается из виду, лес остается позади. Стало светлее, и маленькая лошадка прибавляет ход. Деду уже не нужно подгонять ее. Вслед за телегой спешат мама, тетя Поля, Женя...

Внезапно лошадь фыркнула и встала как вкопанная. От такой неожиданности буренка уперлась рогами в дроги. Гаврила Прохорович скинул шапку, склонил седую голову в поклоне. Бабушка торопливо перекрестилась.

— Господи, спаси и помилуй, спаси...

Я приподнялась на коленях — к нам приближались солдаты. Их несколько человек, они идут посреди дороги, и песок скрипит под ногами. Я вижу автоматы на груди, серо-зеленые мундиры с белыми алюминиевыми пуговицами, блестящие бляхи на груди. Только лиц не могу рассмотреть. Вместо лица у каждого солдата — железная каска и вытянутый подбородок, подхваченный снизу темным ремешком.

— Немцы!! — раздается чей-то тихий вопль.

— Молчать, бабы! — приказывает Гаврила Прохорович и пододвигается поближе к телеге.

Как неприятно скрипит песок!..

— Нахавузе, херр официр, — раскланивается старик.

— Я, я, — солдат отстраняет его и нависает над нами безликой сильной фигурой. — О-оо киндо! Филь киндо! Айн, цвай, драй, фир, фюнф...

Я чувствую, как большая тяжелая ладонь ложится на мою голову.

— Дас ист нетт клайне медхен...

Черное, начищенное до блеска оружие приблизилось ко мне на расстояние одного только короткого вздоха, и я зажмурилась.

— Киндо гут... — звучат чужие слова, не имеющие для меня никакого смысла.

Наконец рука освобождает мою голову. Открываю глаза. Мне протягивают тюбик с круглыми разноцветными конфетами, от которых идет ароматный запах. Беру их, не говоря ни слова.



Потом железная каска осмотрела мою бабушку.

— Русиш матка... Айнэ хексэ...

— Пахавузе, пахавузе, херр офицер, — как заведенный, не переставая кланяться, повторяет дед Гаврила.

Солдаты не обращают на него внимания, все обступают Женю.

— О-оо, русиш паненка! Корош!

Молодая женщина держит в зубах стебелек травы, покусывает его ровными белыми зубами и улыбается.

— Ко-рош! Корош русиш паненка, — старательно произносят солдаты слова. — Польска нихст гуд, рушка шён...

Женя передергивает плечами, еще выше поднимает голову, ступает вперед и ставит ногу на носок, будто собирается пуститься в пляс. Но мне все равно страшно. Вокруг молодой женщины образовалось кольцо в железных касках.

В это время наша корова сильно мотонула головой и заревела мм-му-уу...

У солдат разом дернулись головы и плечи. Один из них стремительно развернулся, передернул автомат с груди на бок, и маленький черный глазок медленно пополз по телеге. Я вижу серо-белое лицо матери с широко открытым ртом, словно она беззвучно кричит мне что-то.

— Мм-му-уу, — снова ревет недовольная буренка. И дуло автомата нацелилось на нее.

— А-аа-ха-ха, — рассмеялась Женя.

Гладкие чистые подбородки дрогнули и отошли книзу. Солдаты улыбались. Потом один из них пнул корову, другой ткнул лошадь автоматом в бок.

— Шайзэ...

И наша телега покатила дальше.

В груди моей что-то неприятно закололо: это я перевела дыхание. Оказывается, все то время, пока немцы были рядом, я просто не дышала.

— Пронесло, господи! — перекрестилась баба Аня.

— А как не пронесет господь, тогда что делать будем? — спрашивает, как будто дразнится, дед Гаврила.

Но вместо того, чтоб пошутить, бабушка взрывается обидой и гневом:

— Да уж поняли, мил человек, что на тебя как на мужика никакой надежи. Трусоват ты, Гаврила. Поди-тка, убили бы при тебе животину, так и слово бы не сказал супостату.

— Не-ее, не сказал бы, сударушка, — соглашается старик и снова погоняет лошадку.

Бабушка даже не хочет смотреть в его сторону.

Ко мне подсаживается Витька Иванов, дергает за косу, шепчет:

— А ну-ка, покажь, чего дали.

«Вот это да!» Я забыла про конфеты, держу их в руке и не помню, что у меня такой подарочек.

Протягиваю Виктору тюбик. Тот щупает разноцветные кругляш

ки, завернутые в хрустящую прозрачную бумагу, пересчитывает их, нюхает.

— Воняют, — делает вывод Иванов, морщит нос, — фу-уу как воняют!

— Вовсе не воняют, — неожиданно возражает ему маленький Сережа, — а пахнут.

— А я говорю, воняют! — злится на мальчонку мой сосед.

— А правильно сказать — пахнут, — не уступает Сереженька.

— А я ка-а-ак дам тебе по носу, так сразу поймешь, что они воняют, — шипит в ответ Витька.

Рядом взрослые, поэтому громко ссориться нельзя.

— Только попробуй...

— И попробую... — вдруг Иванов размахивается и швыряет конфеты в придорожную канаву.

— Ах ты!.. — Но больше я ничего не могу сказать, боюсь, вот-вот заплачу.

Волшебный шар

Спустя некоторое время мы подъехали к нашему городку. Уже издали виднелись поваленные изгороди, разломанные пчелиные ульи, выбитые окна, распахнутые настежь двери, срубленные деревья и разрытые погреба. Можно было подумать, что по пригородным дворам прошел разбойник, которого никто не остановил, и он учинил весь этот разгром.

Глядя на такую картину, бабушка печально качает головой. А Гаврила Прохорович все норовит попридержать лошадку, будто заехал в густой лес и боится сбиться с пути.

— Патруль мы миновали, — говорит он, — а что дальше будет, поглядим, — и зорко смотрит вперед, по сторонам, на всякий случай назад тоже оглядывается.

И я верчу головой в надежде увидеть хоть где-нибудь людей, но их нет.

Две встречные тупорылые машины с грузами заставили Гаврилу Прохоровича съехать с дороги. Машины проносятся мимо, приводя лошадку и корову в ужас, и Витька бегает от буренки к кобылке, гладит их морды, пытаясь успокоить животных.

Когда смолкает гул автомашин, выбираемся на дорогу. На перекрестке непонятные знаки сбивают нас с толку. Их много — новых знаков.

— Куда ж теперь путь держать, сударушка? — спрашивает дед Гаврила, вытирая пот с лица.

— К центру правь, мил человек, — оживляется бабушка, — к центру, на городскую площадь, а там возьмешь вправо на нашу улицу Первомайскую.

От этих слов мое сердце вздрогнуло и забилось быстро-быстро.

«Домой! Улица Первомайская!» Однако сказать что-либо вслух я уже не решаюсь.

Приподнимаюсь на коленях: вокруг знакомые места. Прошлое, как верный друг, ждет меня. Напоминает о себе зданиями, клумбами цветов, улицами и переулками. Хочется соскочить с телеги и припустить к дому наперегонки с Виктором.

Но странные флаги, вывески на чужом языке, запрятанные в палисадниках орудия — сразу короткую радость сменяют разочарованием: мы вернулись не в свой город.

Теперь немецкие солдаты встречаются так часто, что дед Гаврила не успевает скидывать кепку:

— Нахавузе...

Солдаты проходят мимо, высоко вскинув головы. И опять я вижу только подбородки, словно вытесанные из гладкого дерева. Скрипят сапоги с твердыми негнущимися голенищами, сверкают околыши фуражек. Даже на расстоянии улавливается запах мыла и одеколона. Военные громко разговаривают, смеются весело и беззаботно.

— Вот чтой-то им тута надоби? — тихо дивится бабушка. — С такой дали явились, не заморились. Ахти мое лихо!

Мама, тетя Поля, Женя идут вслед за телегой, будто прячутся за ней.

— Должно, и энти сейчас своими пушками начнут свет застить.

— Не, не будут, — успокаивает не то нас, не то самого себя Гаврила Прохорович. — Оне отдыхають, а стало быть, на данный момент им до нас нету никакого дела. — А ну, милая! — шумит он на кобылку. — Плохо кормленная... не то что энти... жеребцы...

— То-то и оно, — соглашается с ним бабушка, — а ты все одно, Гаврила, погоняй к центру.

Старая городская площадь тоже обвешана со всех сторон флагами с черными пауками посредине. В центре площади стоит широченная машина, и из нее льются звуки знакомой песни: «Степь да степь кругом...»

Старик уже в который раз натягивает вожжи, и лошадь останавливается.

— Концерт, что ли?

Но песня резко обрывается, и нам сообщают о том, что армия фюрера освобождает народы от рабства. В благодарность за это все должны работать, работать много, работать аккуратно и снабжать немецкую армию хлебом, молоком, яйцами, маслом...

— Помогай великой армии фюрера! — гремит металлический голос, запрятанный в металлической машине.

— Поможем, поможем... — скороговоркой обещает дед Гаврила и правит туда, куда ему указывает бабушка.

А вслед нам несутся приказы, которые нельзя нарушать на территории великого колониального Германского государства. Несколько раз звучит страшное слово — «расстрел». И я все глубже зарываюсь в траву, которую мы запасли на корм для нашей Звездочки.

При въезде на улицу Первомайскую нас попытались остановить

— Не положено! — гаркнул маленький мужичонка.
Но почему-то его никто не послушался, и мы поехали дальше.
Мужик забежал наперед.
— Не положено! Аль не понимаете, сволочи, русского языка?!
И он наотмашь ударил лошадь кулаком между глаз.
Кобылка припала на задние ноги, осела.
И тут бабушка не стерпела. Она положила больную девочку, слезла с телеги, взяла в руки клюку и пошла на мужика.
— Да кто ты такой, чтоб меня в свой дом не пущать?! Откуда ты только взялся?! — От великого гнева голос ее дрогнул и сорвался.
— Полицай я... служу в охране... — мужик растерялся и отступил на несколько шагов. — Не велено сюда гражданских пускать. Домов в городе свободных полно, любой другой...
— А мне чужого не надоби....
Расстояние между бабушкой и полицаем все сокращалось и сокращалось...
— Не подходи! Убью, старая! — визжит полицай, скидывая ружье с плеча.
— Убьешь?! Убивай! — ничего не видя и не слыша, наступает моя бабушка, держа палку на весу. — И я тебя, гада ползучего, пришибу!..
И мужик вынужден пятиться от нее задом. Все хочет нацелить на нее ружье, но из этого ничего не получается. Сзади появляются двое офицеров и раскатисто хохочут.
— Сударушка, сударушка, образумься! — пытается остановить бабу Аню Гаврила Прохорович, а сам никак не может выпутаться из вожжей.
Один из офицеров медленно вынимает из кобуры револьвер и вскидывает руку.
— Ба-ба-аа! — кричу я страшным голосом.
И ребята поднимают рев.
Вдруг Женя срывается с места, хватает больную и бросается к немцам.
— Майн герн!
Я не понимаю ни Жени, ни ее слов, ни того, что происходит. Я страшно напугана и не свожу взгляда с Жени.
— Дох! — склонил набок голову тот, что держал в руке револьвер. — Лёф Тольстоф быль праф: руска женщин могут быть очарователь...
Женя говорила, на удивление, всё — на чужом языке. Офицеры кивали головами, а Гаврила Прохорович тем временем проворно, без лишнего шума, развернул лошадку.
— Ух ты, мать честная! — перевел он дух.
Мама и тетя Поля наконец-то тоже сдвинулись с места, взяли бабушку под руки, усадили на телегу. Она обхватила нас с Сергеем, прижала к себе, тело ее дрожало.
— Детки... милые детки... Как же вас сохранить теперь? Немощны мы, и плетью обуха не перешибешь.

Гаврила Прохорович отгоняет телегу подальше от опасного места. Позади идет довольный полицай.

— Что, ведьма, навоевалась? — ухмыляется он. — Уж и армия Советов — руки кверху, а ты, сдуру, все кочергой машешь.

На нем — пиджак, широкие штаны заправлены в кирзовые сапоги, на голове — немецкая пилотка с белым треугольником. На широком лице совсем потерялись маленькие злые глазки.

— Погодите маленько... Вот начнут с вас живьем шкуру драть, так враз выучат, что делать. — Он харкнул и повернул обратно.

Гаврила Прохорович остановил лошадку.

— Ну и бабы! — покачал он головой. — А ты, старая, хоть поняла, что не животину твою, а самою могли пристрелить за милу душу?

— Будет тебе ребят пужать! — прикрикнула на него бабушка и уже тише добавила: — Сердце не вытерпело, вперед разуму выступило, простите меня, глупую.

— А умнеть надо, умнеть! — не унимался сердитый дед. — Энто ж вам не редька с малинкой, а фашиска оку-па-цая, — внушительно проговорил он неизвестное до того слово.

Мы ждали Женю. Она догнала нас, передала Полине Егоровне дочь и листок бумаги, исписанный мелкими буквами.

— С этой запиской пойдете в немецкий военный госпиталь, там помогут вашему ребенку.

Однако спасибо ей никто не сказал. Ивановы — мать и сын — смотрели на молодую женщину с испугом и недоумением. А Женя, подхватив на руки Сережу, начала весело кружиться с ним.

— О-оо, майн либэ киндэ!

Никто, наверно, не мог понять ее: чужой не назовешь и на свою не похожа.

Дед Гаврила въехал в первый попавшийся дворик. Мы загнали в сарай на задворках корову, вошли в один из домов, в котором вынуждены теперь были жить. Пусто... Голо... Тревожно... Безрадостно. И так тяжело, будто я все еще в далеком пути и не еду на телеге, а иду пешком, а дороге той — нет конца-края...

Но бабушка уже хлопочет: перебирает бедные пожитки.

— Экая досада! — говорит она, обнаружив среди наших вещей пальтецо Сергея. — Чужое прихватили. Беги, внучка, верни с поклоном, скажи, нечаянно, мол, взяли, извиняйте.

И я пошла, потому что после такой дороги бежать у меня уже не осталось сил.

Евгения Алексеевна поселилась в домике, похожем на ласточкино гнездо, прилепившееся к большому строению. Дом маленький, а крыльцо высокое, с перилами и козырьком у входа.

Поднялась на первую, вторую, третью ступеньку...

«Ехали, ехали домой, а приехали в какую-то «окупацаю».

Снова карабкаюсь вверх и сажусь отдыхать на шестой приступке.

Однако «окупацая» мне совсем не нравилась.

И все вокруг, казалось, согласно со мной: и заброшенные дома



...ными мутными стеклами, и двор без единого дерева... я
р... и бу...жник

Еще одолела одну ступеньку, толкнула дверь и будто прирос... к ...щатому полу. В небольшом коридорчике, в тусклом свете, под кр...шей, плавал большой яркий шар.

Наверно, после того, что мы пережили, та незатейливая соломенная поделка показалась мне маленьким осколком уюта и мирной жизни.

Словно завороженная я смотрю вверх, не двигаясь и почти ... дыша.

Слышу, к чуть приоткрытой двери, ведущей в комнату, кто-... подходит и останавливается у самого порога. Говорят негромко. Я ...наю голоса Гаврилы Прохоровича и Евгении Алексеевны:

— Пацана все-таки оставляешь у себя? — спрашивает старик.

— Да, — отвечает Женя. — Оставляю.

— Шесть годов, мал больно. А у нас такое дело, — ворчит Га...рила Прохорович. — Как только доложу об этом Главному?

— Так и доложи, — говорит Женя, — бросить сына погибш... товарища в разбомбленном доме не могла, не имела права.

Они замолчали.

В это время, закрутившись до отказа на тонкой, почти невидимой нити, шар на миг замер, потом вздрогнул и понесся в обратную сторону. Все быстрее и быстрее!

— Видимо, в последнюю минуту отец сказал сыну о приезде «...ти» из Ленинграда, — снова заговорила Женя, — мальчик ждал ...ня. Бросился на грудь, так крепко сцепил руки на шее... его невозм... но было оторвать...

— Боевой был мужик. Бомба все накрыла: и Хозяина и явку...

Мне не понятно, о ком идет речь, но многое из сказанного за...нилось. По голосам можно было догадаться, что речь идет о чем... очень важном. И еще мне показалось, что старик хочет оби...ть Женю.

«Только бы шар не увидал, а то снимет и унесет», — тревожусь я о своем.

— Легенда была надежной, а тут эдакое... — продолжает гу...ть дед Гаврила, как рассерженный шмель.

— Рассчитали на бумаге, да забыли про овраги, — возража... ему с досадой в голосе Евгения Алексеевна. — И старуха, напр... утверждает, что в породе Поповых, сколь помнится, таких ра...красных из себя сроду не бывало, — сказала она, и прозвучало ... так похоже на бабушкин голос, как будто за дверью проговорила бабушка.

— Надо бы отдельно от них поселиться.

— Теперь это уже не имеет значения, я должна поверить в ...

Пузатый шар весело кружит над моей головой.

«И кто только такое придумал и так красиво?!»

Спросить бы у Жени, может, она знает, но перебивать стар...

[illegible]. Я жду, когда за дверью [illegible]ится беседа [illegible] стучать.

— Выход на Главного, как приказано. Поэтому [illegible] ною — связь! — уже сама Женя что-то требует [illegible]

— Почаще ходи на базар. Думаю, все [illegible] останусь. Дважды линию фронта перейти [illegible] знаешь.

— Помни, при опасности: «Денег нет, долг вернуть [illegible]

Однако вместо того, чтобы рассердиться [illegible] обещали хорошо заплатить за перевоз, Гаврила Прохорович [illegible] повторил:

— Денег нет, долг вернуть не могу.

Тут же с силой распахнулась дверь, и наши с дедом [illegible] сразу встретились.

— Глянь-ка! — громко воскликнул он. А ведь это наша [illegible]пелочка!

Женя тоже выглянула в коридор, и я вдруг почувствовала, что сделала что-то очень и очень нехорошее. Мне стыдно. Я не смею поднять глаза.

— С поклоном возвращаем, — бормочу, протягивая Жене [illegible]то, — нечаянно взяли. Баба Аня говорит, мол, извиняйте нас.. — наконец-то оторвала я взгляд от пола.

— А-аа, спасибо, — улыбается Женя и пристально глядит в лицо деду Гавриле.

Гаврила Прохорович разводит руки в стороны, и Женя продолжает:

— Сережа устал и спит теперь... А ты что же... давно здесь стоишь?

Я и сама не знаю, сколько времени уже смотрю на шар, много или мало.

Отвечаю неопределенно:

— Не-ее... давно...

— Этой девчонке я уже сказывал, — неожиданно громко заговорил Гаврила Прохорович, — не Водяной я вовсе, а Леший, так она про то, верно, никому не проговорилась. — И он подмигнул, как когда-то в лесу — озорно и хитро.

Я приободрилась, осмелев, напомнила старому-бородатому:

— Так сам же наказывал, чтоб язычок на замок...

Деду так понравились мои слова, что он даже присел на корточки рядом.

— Такой бы девчушке да хороший подарочек. Заслужила. Жалко, нету у меня ничего.

И я невольно посмотрела на шар.

— Ты что же, хочешь эту штуку?! — сразу догадалась обо всем Женя.

— Вот и отдай ей! — распорядился Гаврила Прохорович и шагнул за порог.

Даже сейчас не могу описать, как ловко по бревенчатой стене.

[illegible] только до двери, Женя забралась наверх и [illegible],
[illegible] и сорвала соломенную [illegible]

— Да это же волшебный фонарь, Саша! — [illegible] Про-сто чудо!

Шар, сплетенный из оранжевых, красных, зеленых, желтых сол-мок, действительно будто светится в ее руках.

— Я даже знаю, — говорит Женя загадочно, — как он сюда попал.

— Ну-уу не-ее, — хочу я не поверить ей, а сама спрашиваю, — а как он попал сюда?

Женя подумала, потом начала:

— В некотором царстве, в некотором государстве, не так дав-но, перед войной... жил прекрасный принц. Жил, жил и вдруг реши-л стать мастером, чтоб из сотен хрупких соломок сплести крепкий кра-сивый шар-фонарь, который мог бы светить своим светом. Трудная у него была задача... — и она замолчала.

Я жду продолжение сказки и внимательно смотрю на Же-... Она так печальна, что не может поднять темных ресниц, и я бою-сь, что она вот-вот заплачет.

— А что дальше было? — дергаю ее за рукав, мне так не хоче-тся, чтоб она плакала.

Женя энергично встряхнула головой.

— А дальше... — наконец-то глаза ее широко открылись. — И принц все-таки сделал такой шар! Взошел на высокую гору и, когда подул сильный теплый ветер, выпустил его из рук. И шар полетел над широкими полями, над могучими лесами... «Не будет он светить сво-им светом, не будет», — говорили злые люди, провожая его недобры-ми взглядами. «Нет, будет!» — верили хорошие. Но как только нача-лась война, прекрасный фонарь сбили снарядом и он упал в лу-... Кто-то случайно нашел его, в спешке повесил под эту крышу да и за-был. Война ведь...

— Он светится... кажется, светится, — говорю я, потому что мне понравилась Женина сказка.

Но она грозит мне пальцем.

— Не фантазируй, Саша! Теперь он засветится только тогда, когда сам прекрасный принц придет к тебе, Саша! — И Женя протя-нула мне волшебный фонарь.

Осторожно, держа соломенный шар обеими руками, я несу его в свой новый дом.

Спустя какое-то время хватились Гаврилы Прохоровича, а его и след простыл.

Был и нет. Когда уехал — никто не видал, никто не слыхал, куда путь держал.

«Чистый леший... Может, у него и лошадка ненастоящая... Сив-ка-бурка вещая каурка... связь сыщи, нас отсюда забери...» — сочиняю свою сказку и смотрю на шар, который уже висит посредине большой неуютной комнаты. Но больше всего мне хочется, чтоб ко мне пришел настоящий принц.

В оккупации

Комендантский час наступает рано, поэтому мы ложимся спать засветло, устраиваясь в просторной половине дома, как на вокзале. Я сплю на кровати, собранной из широких неструганых досок. Набитый соломой матрац шуршит, и каждый раз, прежде чем уснуть, я вспоминаю наш дом, книжки, игрушки и думаю о том, что прежде я никогда не знала ни забот, ни огорчений.

То время, когда не было войны и оккупации, кажется теперь далеким и почти сказочным. А сказка та добрая, светлая, счастливая. Но закрываю глаза и слышу, как за окном, которое выходит на улицу, раздаются шаги патрульных: гулко, тише, тише, совсем неслышно, потом опять они приближаются к нашему дому, все громче и громче стук каблуков.

Немцы оказываются совсем не такими, какими их рисовало мое воображение. Это обыкновенные люди: руки, ноги, голова, туловище. А вот лиц по-прежнему не вижу, я просто боюсь поднимать на них глаза. Страх так и не проходит при виде чужих — солдат.

Мама и бабушка не спят. Когда бы ни проснулась ночью, слышу их голоса или, наоборот, просыпаюсь оттого, что они часто затевают ночные разговоры.

— Должно, доходит до перекрестка и назад поворачивает, — говорит бабушка о патруле.

— Наверно, — соглашается мама.

— А горожане-то многие вернулись обратно.

— Куда ж деваться...

— Зима впереди, а у нас ни обуться, ни одеться не во что, ни в головы, ни под бок. Хорошо б домой-то пробраться, можа, там что уцелело.

— Нельзя туда, — равнодушно бросает мама.

«Нельзя... Все стало нельзя».

Поэтому мы с братом Иваном целыми днями сидим во дворе или в доме, и баба Аня не спускает с нас глаз, чтоб куда-нибудь не отлучились. А мама работает все дни напролет: то корову в поле отведет, то сходит подоит ее, вечером домой приведет. Траву косит и сушит на зиму сено. Ее и дома-то никогда не бывает от комендантского до комендантского часа. Меня с собой не берет.

Витька Иванов тоже все время где-то пропадает и возвращается только к комендантскому часу. Чумазый, усталый, он молча вытаскивает из-за пазухи какие-то свертки, валится на кровать, совершенно голую, зато с пружинным матрацем, сразу засыпает.

Ивановы поселились напротив нас, и мы с бабушкой ходим к ним каждый день, носим молоко. Тетя Поля все еще выхаживает маленькую Светланку. Девочка уже сидит, а иногда встает на тоненькие ножки и ходит с большой тряпичной куклой по комнате. Игрушку ей смастерила ее рукодельница мамка.

— Ну и штучка поселилась с нами во дворе, — говорит тетя По-

ля о Евгении Алексеевне и снова, уже в который раз, начинает рассказывать: — Пошла я с той записочкой в немецкий госпиталь. Утопающий-то и за соломку готов уцепиться... — даже сейчас, спустя столько дней, тетя Поля не перестает волноваться. — Пришла, показываю одному из них бумагу, он кивает головой и ведет по коридору нашей бывшей школы.

У взрослых в разговоре всегда получается так, что, говоря о немецких солдатах, называют их: «он», «они», «им», «у них» — и все, будто других названий и быть не может.

— Взяли они ребенка, меня, правда, не прогнали. Стою рядом, ни жива ни мертва. Они Светланку смотрят, сами сытые, чистые, белые халаты так и сверкают... Болтают по-своему, разве что поймешь. Послушали мою девочку, сделали укол, таблетки дали. Я взяла ее на руки, к груди прижала, слышу, она уже легче дышит и не в забытьи, как прежде, а спит. — Женщина в раздумье качает головой. — А все та записка. Ну и штучка же наша беженка!

— Ай, — отмахивается бабушка, не желая слушать про Женю,— чего про нее толк вести. Молодая, красивая, грамотная, небось такая черту по нраву придется, не то что какому-то немцу.

— Да и правда твоя, — тоже машет рукой Полина Егоровна, — я о другом думаю... — Она отворачивается от меня, шепчет: — Не одолеть нам их, не одолеть.

— Да ты что?! Господь с тобой! — бабушка яростно перекрестилась, будто у тети Поли нечаянно непристойное слово с языка сорвалось. — Ты, Полина, чегой-то не то говоришь, да еще и при ребятах.

— Ох, кабы могла сказать-то другое, — вздыхает соседка. — Пропадем мы. Сила у них. Да какая сила, сразу видно...

— А хвороба их забери с ихней силой! — сердится бабушка и подталкивает меня к порогу.

Но тетя Поля кричит нам вслед:

— Соседочки-то нашей поостерегайтесь! Кукушка она. Такая враз всех из гнезда повыкидывает.

— Далась она тебе! — баба Аня опять возвращается на середину избы. — Ты допрежь о себе подумай да о своих детях. Витька-то твой воровством промышляет.

Полину Егоровну словно ударили.

— А что ж нам делать?! — кричит она со злом и болью в голосе. Руки у нее дрожат, лицо белеет, а шея покрывается бурыми пятнами. — Воровали и воровать будем! Право нам теперь дано такое — неписаное.

— Энто кем же? — спрашивает бабушка, улыбаясь, только нет в той улыбке ни доброты, ни ласки.

— Самой войной, вот кем! — отрезает Полина Егоровна и отворачивается от нас, считая, должно быть, что разговор на этом закончен.

Но бабушка, напротив, еще ближе подходит к ней, стучит клюкой об пол.

— Мели, Емеля, покуда твоя неделя, а мальца своего все одно

поберегн. У немца будет воровать, прибьют как собачонку, у народа своего разоренного суму потащит — век не получишь прощения.

Тетя Поля закрывает лицо руками, опускает голову, молчит.

— Я сколь раз тебе говорила, — продолжает бабушка, — определи его в пастухи, пущай коров пасет. Он без дела сидеть не будет. А пастух или подпасок — и занятно, и польза большая.

Но так как Полина Егоровна продолжает молчать, советует на прощание:

— Думай, Полина, думай как следует.

Только после этих слов бабушка уходит, прежде вытолкнув меня за порог, хлопает дверью.

Какая длинная ночь, за такую можно обо всем подумать, всю свою жизнь вспомнить...

«Папка мой сильный. Он нас с мамой одной рукой поднимал, смеялся: «Сколько вас еще таких сушеных на один мизинец?!» Дома строил... Сначала нарисует, а потом выстроит... Один мог рисовать и строить...»

В темноте шуршит солома, значит, взрослые все еще не спят.

— Не могу заснуть, — жалуется бабушка матери, — правда говорено, что забота лишей всякой хвори донимает.

Но так как мама отмалчивается, она спрашивает:

— Ты много ль сена накосила?

— С возок будет, — нехотя отвечает мать.

— Возок возку рознь. И Гаврилы нет. Должно, и правда домой подалси. А того не сообразил, старый: теперь везде одинаково, что ни дом — то тюрьма.

Я вспоминаю деда Гаврилу: быстрого, крепкого, хитрющего...

«Леший... по лесам бродит, по деревьям прячется... поди-ка сыщи такого... — Но сейчас мне приятно думать об этом, я улыбаюсь. — Куда же он направился? Язычок на замок...»

Засыпаю... И, кажется, просыпаюсь тот же час от гортанных громких окриков, топота ног.

— Хальт!

Гремит выстрел, потом раздается стрекот автомата. Все это происходит рядом, за стеной дома. Я натягиваю пальто, которым укрываюсь ночью, на голову, дрожу не то от страха, не то от холода.

— Ферфлюхт!

Во дворе долго слышится громкая немецкая речь. Постепенно голоса стихают, шаги удаляются. Высовываю голову и вижу, как к окну крадучись подходят мама и бабушка.

— Ночи в конце августа звездные, все будет видно, — полушепотом говорит кто-то из них.

Я очень четко различаю их силуэты на фоне светлого окна. Они припали к оконной раме и тут же разом отпрянули.

— Человек лежит...

— Убили...

— Жандарма оставили...

— Чтоб никто не выходил из домов.

4 Заказ 2463

— Скоро светает.

— Будем ждать...

Бабушка с мамой снова припали к окну.

Я встаю потихоньку, подхожу к ним. Меня не прогоняют.

— Видать, заскочил сюда, чтоб спрятаться, да не успел...

Это они говорят о человеке, который темным бугорком возвышается посреди ровного, мощенного камнем двора.

Рассвет медленно спускается на землю. Наконец-то сероватые предрассветные сумерки побелели. Я вижу: человек лежит лицом вверх, раскинув руки. Он в гимнастерке, в галифе и сапогах. Тонкая шея, острые плечи...

— Ахти, дитятко родный, совсем молодой... Как же ты?! — тихо проговорила бабушка и замолчала.

И я молчу, чтоб не закричать во весь голос. Жалость и страх будто сковали меня, с трудом посмотрела еще раз на нашего солдата и увидала: глаза его широко открыты и будто бы сосредоточенно смотрят в небо.

Подошел жандарм в тяжелой каске, тяжелых сапогах, с тяжелыми кулаками и тронул безжизненное тело ногой.

— Хоть бы оставили его нам, чтоб похоронить. О-о-ох, — глухо стонет мама.

Но во двор вошла группа военных в черных мундирах. Они подошли к убитому, обступив его, закурили. Потом осмотрели дома, сарайчики. Снова, как черное воронье, склонились над телом. Раздалась команда. Двое солдат с автоматами взяли мертвого за ноги и потащили со двора.

И тут я закричала, почувствовав [illegible] нестерпимую боль в груди:

— Аа-аа... ему больно! Больно-оо!..

Бабушка прячет мое лицо в складках своей широченной юбки, держит голову обеими руками.

— Не больно ему, внученька, не больно. Это у нас душа от горя надсадла, вот она и страдает.

Но я долго еще не могу успокоиться.

После окончания комендантского часа во двор вышли соседи — женщины и ребята постарше. Они постояли, не разговаривая друг с другом, разошлись. Среди них я видела Витьку Иванова. Но сама побоялась выйти на улицу. Выйду из дома, а меня убьют. Я буду лежать на земле, а мамка с бабой даже не смогут подойти ко мне... Из глаз моих градом катились слезы.

— Ты б пошла да поспала немного, — предлагает мне мать.

— Не-ее, не хочу...

— Тогда, может, Звездочку со мной в поле погонишь? — и она внимательно смотрит на меня.

— Не хочу...

Неожиданно к нам приходит тетя Поля с дочкой на руках и с порога начинает просить маму:

— Фенюшка, милая, поговори ты с бабами, может, моего Виктора пастухом возьмут. Ты ведь у наших солдаток за главную...

— Ну что ты болтаешь, Полина! — резко прерывает ее мать. — Нет у нас главных.

Тетя Поля не обиделась, напротив, голос ее стал еще мягче, еще ласковее:

— Ты извини, если что не так сказала. Но все равно — бабы тебя слушаются. Доверяют. Твое слово многое значит.

Бабушка смотрит на маму так, словно в то утро увидела ее впервые. Всегда спокойная мамка моя, до войны провизор районной аптеки, удивила даже бабушку.

— Ты говори, что решила! — требует она от дочери.

— Стадо-то у нас небольшое, двадцать коров всего, пастух не нужен. Только не каждая хозяйка может свой черед в поле отводить. Я скажу, чтоб твоего сына нанимали. Большой платы не ждите, но куском всегда с вами поделятся.

— Не то важно, что денежно, — опять встревает в разговор баба Аня, — а то, что дорого. При деле будет малец, а пастухов в народе всегда уважали.

— Животных Виктор любит, — не перестает хвалиться тетя Поля, перекидывая с руки на руку Светланку. — Глядишь, душой около них подобреет. — Она опечалилась на какой-то миг, потом сказала: — Я и сама думаю за дело взяться.

— С огородов надо все убирать, прятать на зиму, — учит мама, — также с полей, где удастся, пока им не до того.

— Вперед рвутся, закусив удила.

Мне странным кажутся их разговоры. Они беседуют так, будто ничего не случилось, будто не лежал во дворе мертвый солдат с широко открытыми глазами.

— Зачем его убили? — спрашиваю зло.

Вижу, как побелело мамино лицо, упали бессильно бабины руки. Тетя Поля опустила на пол дочку, и та пошла в дальний угол комнаты к Ване. Я смотрю на худенькую девочку, которая бережно и осторожно держит в руках толстую куклу, и вдруг слышу радостно-прерывающийся шепот Полины Егоровны:

— А второй-то ушел! Ушел, бабы!

— Ахти! — ахнула бабушка. — Помоги, царица небесная!

— Может, тебе показалось? — не верит соседке мама.

— Да нет же, не показалось! — И тетя Поля начала рассказывать: — Не спится мне теперь по ночам... Вот я и кружу впотьмах по избе. Нынче вышла на крыльцо... Ах ты, батюшки! Во двор, будто на крыльях, человек влетел... С разбегу — шасть на стенку последнего дома, да на чердак... Слышу, немцы кричат, выстрелы... Я в коридор, а дверь не закрыла... Другой вбегает! Но тут автомат ударил... Даже не охнул родной... — Полина Егоровна спешит высказаться, но ей не хватает воздуха, поэтому, должно быть, голос ее часто срывается, она замолкает. Передохнув, продолжает снова: — А тот-то, первый... наверно, чердаком да на другой конец дома... вниз... а там садами, огородами на окраину подался.

Наверно, это событие для всех оказалось радостно-ошеломляю-

щей новостью. Женщины смотрели друг на друга с гордостью, словно это им удалось спастись. Но вот мать глянула на меня и нахмурилась.

— А ты что? Все слышала?

— Ну и добре, — заступилась за меня бабушка, — чем больше будет знать, тем больше станет понимать.

— Так я думаю, бабы, — снова возбужденно заговорила тетя Поля, не делая между нами никакого различия, — есть у нас еще люди, которые не станут шапку ломать, кланяться да приговаривать: «Херр охвицер».

— Это кто ж такие будут? — спрашивает бабушка.

— Должно быть, военнопленные...

— Ты, Полина, лишний раз поостерегайся об этом говорить, — просит соседку мама, — а то осиротишь ребят своих.

И женщины вполголоса начали поучать друг друга.

Я выхожу во двор, пробираюсь вдоль глухой стены дома к пожарной лестнице и осторожно, чтоб никто не услыхал, лезу вверх. Перехожу с одного конца дома на другой, выглядываю через чердачную дверь. Распахнутая настежь, она упирается в водосточник рядом стоящей избы, и я перелезаю туда. Два следующих дома построены так близко, что, держась за карниз одного, достаю ногой соседний. Раз-з! И уже уцепилась за что-то. Держусь цепко и потихоньку подтягиваюсь. Делать это совсем не страшно, потому что я уверена: по земле теперь ходить еще страшнее.

На полутемных чердаках с толстым настилом из опилок пусто. Я иду дальше. Последний дом этого порядка стоит дальше, но в верхней части его виднеется большая дыра. И если сделать прыжок посильнее да не промахнуться, то окажешься на том чердаке, о котором говорила тетя Поля.

Прыгаю, падая лицом вниз, и вдруг слышу негромкий смех. Поднимаю голову.

— Витька!

— Тихо ты, — шепчет он, — не ори!

Я оглядываюсь: длинный чердак пуст.

— Ты чего?

— Ничего...

На противоположной стороне у слухового окна нет даже рамы. Густой бурьян внизу примят.

— Ушел...

— Ушел, — повторяет Виктор.

Яркое августовское солнце освещает сады, огороды и тропки, чуть приметные в густой траве. Этих тропинок много, попробуй угадай, по которой из них бежал человек туда, где начинается перелесок.

— А ты как сюда попала?

— От самого дома по чердакам прошла.

— Врешь?!

Но мне не хочется спорить с соседом. Я давно не разговаривала с ним и рада встрече.

— И мы так же уйдем, если надо будет, правда, Витька?

Иванов помолчал и, не очень-то желая делиться своими мыслями, нехотя процедил сквозь зубы:

— Глупая, с чердака незаметно... убивать можно. Только надо научиться быстро бегать... туда-сюда, сюда-туда...

Мы проделываем обратный путь по чердакам до Жениного домика. Он оказался последним.

У каждой щели Виктор валился на живот, просовывал в отверстие палку и строчил, строчил по безлюдному дворику. Лицо у него было очень злое.

— Трры-ты-ыы, траа-тааа...

Вниз спустились по бревенчатым стенам Жениного дома и рядом с ним стоящего. Одна нога — на одной стене, другая — на другой. Вниз, вверх, снова вниз, опять вверх и — на землю между двумя домами.

Чердаки-то мы освоили быстро, но как будем убивать — не знаю. Об этом мне страшно даже подумать.

[illegible]

— Мамке надо помогать, — говорит бабушка по утрам, когда той уже нет дома. — Одна кормит троих, да сама четвертая. Надолго ль ее хватит?

Мы сидим с Иваном за столом, едим картошку, мятую с молоком. Стол, очень маленький, стоит у окна. Бабушка отыскала его в каком-то сарае, там же нашлась и пара табуреток. Поэтому наша семья завтракает, обедает и ужинает по очереди: вначале взрослые, потом мы — ребята. Но я считаю, если есть что поесть, съесть можно как угодно и в любое время. Кусок черного хлеба, зажатый в кулаке, — с ним и дома, и на улице весело.

— Надо помогать, надо, — опять сокрушается бабушка, но что делать — не говорит, наверно, и сама не знает.

Она постоянно тревожится о чем-то. И чтоб хоть чем-то порадовать ее, говорю:

— Скоро, бабусь, в школу пойду. Учиться буду хорошо, а может, даже на одни пятерки.

Хочется верить, что именно так оно и будет.

— Да ты про что толкуешь, внучка?! — всплеснула руками бабушка. — Какая школа? Кончилась твоя школа. В кабале мы теперь, что в ярме деревянном. Вот и учись, как выжить.

Я смотрю на бабу.

— И не гляди на меня так, ни в чем я перед тобой не виновата. — Но долго сердиться она не может. — Вот свои вернутся, опять все станет по-нашему, — утешает она меня.

В то, что свои вернутся, бабушка верила всегда, и ничто не могло переубедить ее.

Под окнами нашего дома часто грохочут танки. Выгруженные на станции, они в клубах пыли и гари уползают все по той же старой шоссейной дороге на восток. Катят мотоциклы, машины везут солдат...

А бабушка посмотрит им вслед и снова молвит:

— Красную бы Армию поскорее дождаться.

Помню, как однажды, возвращаясь с базара, к нам зашла тетя Поля, чтоб сообщить очередную новость.

— Полицаи нынче листовки немецкие раздавали, чуть ли не за пазуху на рынке каждой бабе совали. Хотят, чтоб знали все: русские войну проиграли, через несколько дней падут Москва и Ленинград.

— Стало быть, все ж таки не пали пока? — сурово смотрит баба Аня на соседку.

— Не, не пали...

— Тады нечего про то и толк вести, их̆нюю заразу по домам разносить.

— Да я так, — смутилась Полина Егоровна, — зашла проведать. Не болеешь ли, Андреевна?

— Не до хвори сейчас, — отмахивается от ее расспросов бабушка.

Однако тетя Поля, желая продолжить разговор, начинает о другом:

— Ленинградскую-то нашу постоянно на базаре вижу. Ходит по рядам, прицениватся, потом купит три картошки, будто курам на смех, и пошла. Сама разодетая как [illegible], а говорит, мол, дорого очень, будто в упрек всем.

— А может, ей и дорого, [illegible], — опять начинает спорить бабушка.

— Так сама на днях платье шелковое продавала, — возмущалась Полина Егоровна, — так запросила дорогую цену, что ни одна молодуха не купила ее товар.

— А молодухам не надоби и принаряжаться, не нужны им таперь шелковые наряды! — сердится еще сильнее баба Аня.

Но тетя Поля тоже не хочет уступать:

— Если она барыня, так ей и поесть надо хорошо, и одеться получше других...

— Ай, какая она барыня, — отмахивается бабушка, — и не барыня вовсе.

— А кто ж?! — у Полины Егоровны от любопытства даже платок с головы слетел.

— Девка она, обыкновенная девка. - Бабушка помолчала, подумала и добавила уже с тревогой в голосе: — Одно плохо — к работе совсем не приучена, так кабы с путя-то правильного не сбилась.

Тетя Поля поняла, что с ней согласны, энергично закивала головой:

— А я про что? И я про то ж...

«Не-ее, все не так», — думаю я, вспомнив, что на базар Жене велел ходить Гаврила Прохорович. Но это кажется неправдоподобным даже мне самой, потому что Евгения Алексеевна, должно быть, уже давно забыла про лохматого старика. Но ведь тогда — за дверью —

точно слыхала такие слова: «Чаще ходи на базар». Или это я придумала сейчас?

— Она деда Гаврилу дожидается, — не очень-то уверенно заявляю я.

Женщины удивленно смотрят на меня и какое-то время молчат.

— Ты, Шура, путаешь, — усмехается тетя Поля. — Зачем же ей старый Гаврила. Ей которого помоложе подавай, чтоб было с кем шутки шутить.

Что-то нехорошее было и в улыбке, и в словах нашей соседки, и тогда я, насупившись, замолчала.

А жизнь в оккупации продолжалась. И почти каждый день случалось что-нибудь страшное.

Вот сегодня я смотрю в окно и вижу: из домов, будто на пожар, выбегают женщины. На ходу повязывают темные платки, хватают ребят, кого за руки, кого на руки, и спешат на улицу.

— Аль случилось чего? — гадает бабушка и вдруг проворно выскакивает за порог, а я за ней.

— Пленных гонят... пленных... — шепчут бабы друг другу, — красноармейцев... наших гонят... — гудят они, как растревоженный улей, выстраиваясь вдоль дороги.

Я не знаю, что должно произойти в ближайшую минуту, но уже чувствую что-то недоброе. Мне холодно, меня трясет на утреннем, еще не согретом солнцем воздухе. Чтобы побыстрее увидеть пленных, тяну бабу за юбку, поближе к мостовой.

И вот из-за поворота показалась серая колонна и тяжелой волной покатилась на нас.

— Ну вот и дождались своих детей, — ужаснулась бабушка.

Люди, не зная, что предпринять, молча ждут.

И вдруг на середину дороги выходит маленькая, сухонькая старушонка, идет навстречу пленным, протягивая скромные дары — вареную картошку и лук. Руки ее дрожат так сильно, что овощи в лукошке ходят ходуном.

— Хальт! Вег! — раздается команда.

А старушка все идет вперед...

— Вег, швайнэ!

Рванула воздух очередь из автомата.

Маленькая женщина опустилась на колени, на какой-то миг склонила голову перед пленными и, роняя лукошко, упала лицом вниз.

Бабы и ребята отпрянули к заборам и калиткам дворов. Мне хочется убежать домой и спрятаться под кровать...

— Гляди, Шура! — держит точно клещами меня за плечо бабушка. — Может, папка твой тут.

По моей спине поползли мурашки.

Окруженные конвоем, пленные приблизились к убитой. Тяжелая волна вздрогнула, рассеклась пополам и закрыла старую — мать чьих-то сыновей.

— Зорче гляди! — требует бабушка, шаря по колонне ошалелым и ничего не видящим из-за слез взглядом.

И я смотрю, смотрю внимательно, как мне велят.

Вконец измученные и исхудавшие люди идут не поднимая головы. Слышится глухое шарканье сотен ног — босых, в рваных ботинках, разбитых сапогах.

— Шнелер! Нун або шнелер! — слышатся окрики вперемежку с лаем огромных собак.

«Нет, это не бойцы Красной Армии, их гонят...».

Гонят на виду у ребят, женщин, старух. И я не столько понимаю, сколько ощущаю общее горе. Кажется, то тут, то там я вижу отца, но никак не могу рассмотреть его по настоящему в толпе похожих друг на друга людей. Хочется крикнуть что есть силы: «Папка-аа!»

— Гляди, Шура! — снова наклоняется надо мной бабушка.

И я вижу впалые, поросшие серой щетиной щеки, заостренные носы, изредка — тусклые взгляды. Наши солдаты не могут свернуть в сторону, подойти к нам, протянуть руку, даже сказать что-нибудь на прощание — их гонят...

«Папки здесь нет, нет», — чтоб унять сильную дрожь, уговариваю я сама себя.

Вдруг от колонны отделяется немецкий солдат и, пританцовывая, приближается к нам. Он так весел, что даже пилотка задралась орлом кверху.

— Матка! — обращается немец к моей бабушке. — Зеен зии! Рушка зольдат... — Он согнул спину, плетьми бросил вниз руки и, изобразив на лице плаксивую гримасу, шатаясь, сделал несколько шагов. — Капут рушка зольдат! О-хо-хо...

Бабушка откинула голову назад, будто ее хлестнули по лицу.

— Куражься, куражься, германец, — согласно кивает головой бабушка, — ночь твоя, а день пока не наступил.

— Я, я, матка, капут! — крикнул счастливый немец и прыгнул от нас в сторону.

— Шнелер, швайнэ!

В конце колонны шли самые слабые. Многие из них раненые.

— Краскова... Краскова-аа... — слышу я слабый зов.

Да это же тот солдат, что спас меня от пулеметной очереди с самолета! Спас мне жизнь! Теперь-то я понимаю,что́ он сделал для меня.

С непокрытой головой, в почерневшей гимнастерке, с обвислыми белыми усами на темном лице, он начинает незаметно топтаться на месте, пропуская вперед себя товарищей.

— Скажи моим на деревню Заречье...

Я слушаю его, запоминая не только слова, но и голос.

— Жив был батька... в августе... поклон всем слал...

Верзила в каске врезался в строй и ударил пленного автоматом между лопаток. Изо рта солдата потекла кровь. Он качнулся, но, будто упершись ногами в землю, выстоял.

И снова шарканье ног, лай собак, окрики конвоиров. Колонна пленных прошла.

— Мертвым легче, — сказала бабушка.

И в это время кто-то заголосил над убитой старушкой.

— Мама-аа моя родная... растоптали сердце твое доброе... сердце золотое...

Мы с бабушкой постояли, послушали плач и повели друг друга домой. Сил не было ни у нее, ни у меня.

— Надежи никакой не хочет ворог оставить народу. Прилюдно, как скотину на убой, прогнали солдатушек, — совсем поникла бабушка. — Как жить?

— Бабусь, а папки там нет. Я хорошо смотрела. Нет, правда, — от этих слов мне самой становится легче.

— И то хорошо, — соглашается бабушка и снова о своем: — Никакой надежи...

Оставленный без присмотра, Ваня бегает по пустой просторной избе и забавляет себя какими-то играми. Он радостно встречает нас.

— Собирайся, внучка, — вдруг принимает решение бабушка, — пойдем промышлять: где картошки накопаем, где овощи с огородов соберем. Люди побросали, а мы подберем.

И после этих слов она произнесла свой сказ, который запомнился мне на всю жизнь:

— Ворог нас в землю, а мы в рост пустимся; он нас в воду, а мы грозовым дождем прольемся; в огонь бросят, а мы в стальной ком сольемся, — бабушка стукнула клюкой об пол. — Жить будем на этой земле!

Утром мама и бабушка встают рано и сразу принимаются хлопотать у печи, соображая, что сварить, чтоб наша семья весь день была сыта. Печка большая, много в ней горшков, чугунков разместить можно, одно плохо — не с чем их туда ставить. Варят обычно молочный суп да картошку.

Широкая белая печка протоплена, еда готова, мама и бабушка садятся за стол, чтоб поесть горячего супу. Неспешно обсуждают семейные дела, и я часто слышу, как в разговоре упоминается мое имя. Обо мне думают и заботятся, будто я и в самом деле еще маленькая.

— Шура, а ты уже не спишь? — потихоньку, чтоб не разбудить Ваню, окликает мама.

Но я не хочу отзываться. Мне нравится лежать в постели и из дальнего угла наблюдать за всем, что происходит в этот спокойный час в доме.

«Хорошо!»

— Ахти! — вдруг надрывно охает баба Аня. — Полицан! Идут к нам. Сразу черт двоих несет.

Мама бросается от стола на середину избы, ищет куда бы спрятаться: падает на пол у Ваниной кровати и забивается под нее.

В коридоре слышится грохот, потом с силой распахивается дверь.

— Где хозяйка?! — кричит полицай, вырядившийся в форму фашистского солдата.

— Я хозяйка, — отвечает бабушка.

— А на кой черт ты нам нужна, хромоногая. Где молодая?!

— Нету, кажись, корову погнала.

— Погнала, говоришь... айн момэнт поглядим... — И он начинает осматривать печь, заглядывает под стол.

Я прижимаюсь к стене и не могу пошевелиться, будто это ищут меня.

Ванина кроватка такая маленькая, что, кажется, взрослому человеку там спрятаться невозможно, но полицай не верит своим глазам и наклоняется вниз.

— А-аа, вот ты где!

Одной рукой он выдергивает мать из под кровати, и она, тонкая, с расплетенной косой, лежит на полу рядом с огромными сапогами.

Проснулся Ваня и смотрит на то, что происходит, испуганно тараща глаза.

— А-аа этого хошь?

Над головой матери нависает окованный железом тяжелый приклад винтовки.

Я заталкиваю в рот кулак, чтоб не кричать

— Башку размозжу!

— Ну что ты, Петро, [illegible] другой полицай в пиджаке и широких штанах. — И [illegible] народу. — И прикрикнул на мому: — А [illegible] бургомистра овес будешь косить!

Мама медленно, будто тяжел[illegible]й человек, поднялась с пола. Ее с силой толкают в спину к [illegible]

— У-уу... — выругался [illegible] в форме, вскидывая ружье на плечо, — наладились ховаться: то в печку, то под печку, а то под кровать. Петро Карев, — полицай бухнул себя в грудь, — и на дне морском всякую жабу сыщет. Это вам не фрица безмозглого дурить.

Мне до слез жалко мою мамку. В одной рубашонке подбегаю к ней, обхватываю руками за шею.

— Ты что! И не стыдно! — сердится она. — Выдумала тоже. — И отталкивает от себя. - - Занимайся своим делом.

Я припадаю к бабушке, потому что только она одна еще может оставаться доброй в такое утро.

— А энто кто ж такой бургамин? — спрашивает бабушка у полицаев.

— Бургамин... ха-ха-аа, — развеселились те.

— Не бургамин, старая ворона, — учит Петро Карев, — а бургомистр. — И, одергивая немецкий китель, пояснил: — Бургомистр власть новая из наших! Во главе целого города поставлен.

— А немец — теперь уже не власть?

— Цыц ты, дура! Договоришься мне! — И у бабушкиного лица появляется кулак. — Немец у нас — главная власть, запомни!

— А-па, — бабушка повернулась спиной к полицаю и к кулаку, принялась хлопотать у стола.

Маму увели на работы.

Мой шар бешено кружит под потолком, того и гляди, сорвется с тонкой нити и упадет на пол, расплющится и никогда не будет светить своим светом.

«Где ж тот принц? Принц... Выдумала тоже...» — сержусь я почему-то на Женю и ее сказку.

— Сегодня в поле пойдешь одна, — говорит бабушка, — ребятишки уже побежали, и ты за ними, с народом-то не забоишься. А нам бы с Иваном как-нибудь корову подоить.

Я собралась и пошла на бывшие городские огороды. День безветренный, и деревья, чуть пожелтевшие, не шелохнутся. Как хорошо когда-то было в такую пору с подругами в школу бежать. Но теперь, кажется, и дорогу туда не найдешь. Теперь в нашем городе ко всему нужно хорошо присмотреться, чтоб узнать старое — довоенное. А самое главное — по улицам надо ходить осторожно и почти незаметно.

Я уже знаю, что самое высокое и красивое здание в городе лучше всего обходить стороной. Увешанное сверху донизу фашистскими флагами и вывесками, оно стало самым страшным местом: здесь комендатура. В этом доме, говорят взрослые, заживо хоронят людей. Приближаюсь к нему и вижу [illegible] прохожие, не останавливаясь и не оглядываясь по сторонам, [illegible] прочь. Но со мной никого нет. предостерегать и подталк[illegible], и я замедляю шаг.

В здание входят [illegible] в черных или серо-зеленых мундирах. При встрече, [illegible] какую-то игру, тянут друг перед другом руки.

А навстречу мне, [illegible], идет отряд солдат. Они шагают плечо к плечу, нога [illegible].

— Халь-ли хало-со, [illegible], [illegible]...

И под тяжестью нескольких десятков пар сапог мостовая вздрогнула и жалобно загудела.

Я встаю под запыленные кусты акации и рассматриваю свои босые ноги. На фашистов нельзя смотреть зло или сердито, за это могут убить, а смотреть по-другому невозможно, потому что они убивают. Хочется поскорее уйти с этого места. Я припускаю бегом и невзначай сворачиваю на свою улицу — Первомайскую. Чтоб меня не заметили, иду не дорогой, а пробираюсь узенькими тропками позади строений садами и огородами...

Когда наконец-то вышла на знакомую лужайку с рубленым колодцем, так и подпрыгнула от великой радости: мой дом был рядом! Высокий, светлый, он стоит, как и стоял, на пригорочке в осеннем саду, сверкая оранжевой крышей.

Вокруг тишина, безлюдье, лишь изредка цывкнет какая-нибудь птаха в зарослях травы. Тут по-другому светит солнце, другой воздух! И, вдохнув всей грудью, бегу к дому, словно лечу на крыльях... Вдруг останавливаюсь, мне почему-то становится страшно.

«Ну, подойди, подойди поближе!» — будто кричит мне мой дом, где была та неповторимая жизнь, которая так и не вернулась больше к нам.

«Иди, не бойся!» — говорю я сама себе.

Делаю несколько шагов, приседаю, прислушиваюсь, опять крадучись пробираюсь вперед и сажусь в картофельную борозду, пропаханную этой весной отцом. Боязно. И я то встану, то упаду, то приподнимусь над землей, то снова припаду к ней...

Уж и не помню, как оказалась у самого порога дома. Хочу взглянуть на окна, что выходят на широкую улицу, иду за угол и останавливаюсь, не в силах сдвинуться с места.

В гамаке, который мы с папкой в начале лета привязали к двум самым толстым яблоням, сидит человек. На плечи накинута мягкая куртка, а нижняя рубаха слепит глаза белизной. Такого немца я вижу первый раз: он даже без головного убора. Упираясь ногой в дерево, потихоньку раскачивается. Чтоб было удобно, мой гамак он поднял выше.

— Вас ист дас?

Однако холодный взгляд, зашторенный стеклами очков, мало пугает меня. Я вижу, что вместо оружия он держит в руках книгу.

«Вась ист даст», — повторяю я про себя чудные слова.

— Вас махст ду? — снова о чем-то каркает он, указывая на меня длинным сухим пальцем. — Чтой делять щдесь?

Я поняла, о чем он спрашивает.

— Ничего, — отвечаю, желая только одного — поскорее отделаться от него.

— О-оо... — немец грозит [illegible] рушка есть «все». Чтой делять конк-рет-но?

— Картошку свою буду копать. — Мне не нравится палец, нацеленный в меня, точно дуло оружия.

— Ка-пайть, — повторяет он за мной, — никс ферштей — «капайть».

— Ка-пать, — громко поправляю я его, потому что мне кажется, что немец плохо слышит.

— Дох, ко-пать. — И он тоже повышает голос: — Дас ист гуд! Копать есть арбайтан. Рушка люд работать. Я, я. — Немец вытянулся в гамаке и сидит так прямо, словно ему подставили скамейку. — Арбайт на великий рейх...

Он продолжает говорить, но я уже не слушаю. Больше всего мне хочется как-то показать ему, что это мой гамак, мой сад, мой дом. Я хватаюсь обеими руками за картофельную ботву, что у меня под ногами, и с корнем вырываю ее из земли. Наверх выкатились крупные розовые клубни. Не спеша собираю их в торбу, которая висит у меня на плече, а немец таращит стеклянные глаза.

«Ишь пугало-то какой, ахти мое лихо!»

— Ганс! — кричит немец.

И в тот же миг из нашего дома выбегает небольшого роста, быстрый, как мышка, солдат. Он ставит у ног хозяина начищенные до

блеска сапоги. Ему что-то приказывают, а маленький солдатик тянется вверх, словно хочет подрасти еще немного.

— Яволь! — щелкает он каблуками.

Убегает и через минуту стремительно сбегает вновь с высокого крыльца. Теперь в его руке жестяной, расписанный яркими цветами поднос. Я сразу узнаю эту вещь: его подарили маме от коллектива работников аптеки. Поднос будто горит на солнце.

— Ком цу мир! — слышу я окрик. — Подойти!

Подхожу к подносу. Длинные пальцы тоже тянутся к нему. Немец снимает конфету, похожую на круглую пуговицу, протягивает мне. Нехотя беру ее.

Немец опять что-то говорит. И маленький солдат тянется так, как будто хочет стать выше крыши. А немец в куртке, вынув носовой платок, вытирает им руки, бросает на поднос и начинает натягивать сапоги.

Я стараюсь что-то понять:

«Воры!.. Ворюги!.. Украли мамкин поднос...»

Подхожу к ямке, вырытой мной, и бросаю в нее угощение.

Немцы смотрят на меня.

«Ну и глядите!» — спихиваю в лунку землю и прихлопываю ее босой ногой. Спихиваю и прихлопываю. Прозрачной обертки уже не видно, а я все сыплю и сыплю...

Глаза у солдата становятся такие же круглые и стеклянные, как и у хозяина.

— Вас ист дас?!

Теперь нужно поскорее уходить отсюда! Срываюсь с места и, не оглядываясь, бегу прочь.

— Баба-аа! — Запутавшись в высокой траве, падаю со всего размаха, не замечая царапин и ушибов, вскакиваю и опять мчусь вниз — к лужайке. — Они дом украли-ии! — рыдаю я без слез.

Наш прорвался!

К осени городское стадо увеличилось, и Виктор стал главным пастухом, которому помогал подпасок.

Каждое утро он выходил из дома, заталкивал за пояс небольшой кнут и шел к хозяйке-очереднице. Потому что в этот день именно ее черед кормить пастуха и выделять ему помощника, кого-нибудь из членов своей семьи.

Пастух входит, здоровается с поклоном и садится за стол. Хозяйка подает еду. Она заранее знает, когда придет ее очередь и приберегает к этому дню самые лучшие кусочки, старается не уступить другим ни в гостеприимстве, ни в хлебосольстве.

И в вёдро, и в дождь пастух уходит со стадом в поле. Перегоняя коров с места на место, выбирает полянки посвежее и травянистее, чтобы коровы больше принесли молока.

Сегодня наш черед принимать пастуха и заботиться о нем. И я — подпасок — сижу с Виктором за одним столом. Обычай завтракать по-городскому, как было до войны — бутербродами с чаем, — в данном случае совсем не подходит. Вначале бабушка наливает нам суп, потом накладывает душистой пшенной каши. Перебрав холщовые мешочки, что хранятся на самодельной кухонной полке, она достает самый маленький, похожий на кисет, и вынимает два кусочка сахара.

Виктор хоть и старается ничему не удивляться, однако ж и он теряется при виде такого богатства. Каждый из нас получает по куску, и мы пьем настоящий чай с молоком и сахаром.

Ай да бабуля! Теперь все будут говорить, что у Красковых пастухов потчевали сладким чаем.

Пока я надеваю куртёшку, повязываю серый теплый платок, обуваю большого размера ботинки, Виктор идет в сарай и сам выгоняет Звездочку во двор.

На высоком крылечке стоят Женя и Сереженька. Чистенькие, принаряженные, они, видимо, собрались на базар, чтоб купить кое-что из продуктов. Вернутся с рынка, и Евгения Алексеевна начнет готовить жидкую кашку на жидком молочке. Правда, дома у нее никто не бывал, даже полицаи обходят его стороной, однако молва утверждает: так оно и есть, потому что трудиться, как простые люди, она не желает.

«Барыня... штучка еще та...» — [illegible] я.

А случайно подслушанный [illegible] Жени с дедом Гаврилой почти забылся. Да и сам старик, [illegible] навсегда ушел из моих воспоминаний, как простая [illegible] сказочка.

Сережа спускается с [illegible], [illegible] подойти к корове.

— А она кусается? — [illegible]

— Ну что ты, мальчик! — [illegible] Евгения Алексеевна. — Она дает молоко.

— Дает молоко, — повторяет [illegible]. — А что еще делает?

— Бодает [illegible], — ворчит потихоньку Виктор, проверяя торбу, кнут и шнурки на ботинках.

Я уже не могу сдержать смеха и тоже делаю вид, что интересуюсь содержимым своего мешка, привязанного у меня на поясе, в него баба Аня положила краюшку хлеба и вареную картошку на обед.

— Готова? — спросил Виктор.

— Готова!

Ворота распахиваются. Бабушка и тетя Поля машут нам вслед, а сзади, в одной рубашонке, бежит Ивашка, силится догнать и никак не может.

Мы идем посреди улицы, и для пущей важности Виктор щелкает кнутиком. Я держу в руках хворостинку и с гордостью думаю, что сейчас никто даже пальцем не смеет тронуть нас.

— Пастухи! Пастухи в поле гонят! — слышатся радостные возгласы, потому что гнать коров на пастбище в оккупации — значит продолжать жить.

К нам присоединяются хозяйки, провожая своих коровушек за город, потихоньку обмениваются новостями друг с другом.

И кажется, что более приятного и важного дела, чем гнать коров в поле, на свете не бывает.

За городом Виктор медлит, придерживая животных на утоптанной полянке. Он пересчитал коров, одной не хватает. Значит, хозяйка запаздывает и ее приходится ждать.

Наконец-то из-за пригорка показались пестрая корова и запыхавшаяся женщина.

— Ты прости меня, Иванович! — с ходу начинает оправдываться она. — Дите у меня нынче приболело, всю ночь не спала, утром вздремнула, да и проспала. Простите, ребятки! — Она подбегает ко мне и опускает в мешок два яичка: — Это вам. И спасибо, что подождали, а то далеко пришлось бы бежать за вами.

Теперь все стадо в сборе. Виктор ставит меня сзади, а сам идет сбоку, наблюдает, чтоб коровы не разбрелись по кустам. Мы тронулись в путь...

Под ногами хрустит подмороженная трава, но день обещает быть солнечным. А чуть только проглянет солнышко, как все сразу запотеет, и трава станет мягкой и сочной. Поэтому и будут пасти коров в поле, пока не выпадет глубокий снег. Кормов-то запасли не очень много, только бы на зиму хватило.

«До чего ж красиво вокруг!» — оглядываюсь я по сторонам. Пригорки, поляны — где побелевшие от заморозка, где желтые, а где и зеленые совсем. И вдруг из-за горы выскакивает солнце! Оно острыми стрелами врезается в густой туман над рощицами и гонит, гонит его прочь...

— Эй, пастушка, заснула, что ли? — кричит мне Виктор.

А коровы-то и правда ушли далеко, и я бегу вслед за ними.

— Сегодня погоним в самое опасное место, — понизив голос, словно нас кто-то мог здесь подслушать, говорит Виктор.

— Какое опасное? — еще тише спрашиваю я.

— Есть одно такое местечко... — загадочно начинает Виктор, но почему-то замолкает.

И я спрашиваю снова:

— А зачем мы туда погоним наших коров?

— А затем... Хоть там и фрицев много с пушками, однако ж клевер совсем нетронутый и зеленый вовсю. — Главный пастух внимательно смотрит на меня. — А ты что, боишься? Иль не хочешь, чтоб коровы сытые были?

Нет, я очень хочу, чтоб сегодня коровы наелись так, как никогда еще не ели, и чтоб все заметили, что в мой день у них молока больше, чем в другие. Однако ж и отправляться туда, где много немцев, боязно.

— А что они там делают?

— Почем я знаю, я не знаю, — откровенно признается Виктор. — Мы туда спешить не будем. К обеду пригоним, и хорош. Во как коровы наедятся! — и он оттопырил полы пиджака. — Ты, главное, не бойся...

— А я и не боюсь! Погоним на тот клевер.

Ближе к обеду наше стадо вышло на пушистую клеверную поляну. А рядом с ней, на пригорке, расположились немецкие солдаты. Кто-то пиликал на губной гармонике, дымилась печка на колесах, и пахло вареным мясом. Можно подумать, что здесь просто отдыхают. На длинной веревке сушится белье. И, только присмотревшись внимательно, замечаешь, что несколько замаскированных пушек смотрят дулами вверх.

— Вот тебе и «вас даст», — сплевывает Виктор, — никого не боятся.

— А что, Витька, они нас должны бояться?

Витька сердится на мою несообразительность.

— Нас-то им чего бояться? У нас кнут и хворостина. — Он посмотрел на пригорок, прищурившись. — Красной Армии не боятся

— Так сказывают, что Красной Армии уже нету.

Виктор сердится еще больше:

— «Сказывают»... «нету», — передразнивает он, но, заметив, что я обиделась, примирительно поучает: — Не всему надо верить, что теперь говорят. Есть Красная Армия.

— А ты откуда знаешь?! — удивляюсь я.

— Знаю... — отмахивается от меня Виктор, но, подумав, решил растолковать все, как следует: — Со мной в подпасках разные люди ходят... не только такие, как ты, малышня... взрослые тоже бывают Вот они и говорят: есть армия... Только про то молчок. Поняла?

— Поняла. Язычок — на замок! — сразу вспомнила деда Гаврилу. — Это он про то, что не Водяной вовсе, а Леший, — проговариваюсь я.

— А-аа, — пренебрежительно говорит Виктор, ничего не поняв, — ни водяных, ни леших нету... сказки...

— А вот и есть! А вот и есть! — радуюсь я тому, что мне известно нечто такое, о чем мой сосед и не подозревает вовсе. И спрашиваю с еще более таинственным видом: — А ты знаешь, кто у нас Леший?

Но Виктор даже не взглянул на меня. Он с тревогой смотрит на горку, откуда с котелком в руке спускается немецкий солдат.

— И что ему тут надо?

— Не знаю...

А немец, весело насвистывая, подошел к пестрой корове, присел рядом на корточки и приготовился доить ее. Пеструха дико повела головой и, взбрыкнув, бросилась наутек. Солдат огляделся и стал подходить к следующей. Но коровы разбегались от него в разные стороны. Только моя буренка, сосредоточенно жуя траву, никак не реагировала на переполох, тогда немец направился к ней. Корова спокойно стояла на месте. Он присел на корточки, дернул за соски, буренка не пошевелилась. Солдат поставил котелок на землю, начал работать двумя руками. Молока не было.

Это удивило и меня. В обеденное время Звездочку всегда доили, а сейчас как раз тот час. Я подхожу ближе. Буренка ест траву, помахи

ная хвостом, как будто к ней привязался не человек, а огромный слепень.

Немец, видимо, тоже понял бесполезность своей затеи, выпрямился во весь рост и начал отстегивать огромный ремень с бляхой...

Уж не знаю, кого он решил огреть тем ремнем, меня или корову, но в это время загудел самолет, и мы оба подняли глаза к небу.

Он — краснозвездный — будто вырвался из-за тучи: огромной, одиноко нависшей над землей недалеко от того места, где расположились фашистские солдаты. Самолет быстро шел на снижение и, поравнявшись с высотой, открыл огонь.

— Шнель! Шнель! — крикнул немец и бросился куда-то в сторону.

Видимо, появление самолета оказалось для фашистов полной неожиданностью. На горе началась суматоха: крики, беготня.

Как же давно мы не видели красных звезд в нашем небе! Я смотрю на них не отрываясь.

Вот самолет снова зашел за тучку, снова вынырнул из нее, и снова заговорил его пулемет.

Но теперь уже в ответ ударили немецкие орудия. Снаряды зависали в воздухе сизыми колючими ежами, норовя поранить легкое тело «ястребка». По нему били со всех сторон — справа, слева, спереди...

Вдруг машина будто замерла в воздухе и тут же начала медленно падать вниз. Без дыма и огня, валилась на землю, опрокинувшись на крыло...

Пушки замолчали. Горланя о чем-то, немецкие солдаты бросились туда, куда вот-вот должен упасть самолет.

И словно какая-то сила сорвала меня с места...

— А-аа! — помогая себе неистовым криком, я тоже бежала к самолету. Бежала, ни о чем не думая и ничего не боясь. Мне хотелось только одного: успеть и быть первой. — А-аа!..

Взбежала на бугорок и застыла в изумлении: у самой земли, чуть не коснувшись ее крылом, машина перестала падать, будто сделала разбег по макушкам низкого кустарника и резко взмыла вверх. Все выше и выше!

Остановились немцы, провожая самолет криками и взмахами рук. «Ястребок» улетел прочь, и никто уже не мог помешать ему.

— Вот это да!!

Рядом стоял Виктор и восхищенно смотрел на светлую точку на горизонте.

— Как он их!

На мне почему-то не было платка и неудобных ботинок.

— Наш, Витька, наш к нам прорвался! — высоко подпрыгивая, торжествую я.

— А хитрый какой! Ха-ха-аа... — смеется Виктор.

— А сердитый какой! Тра-та-та-аа...

Я была уверена в том, что видела очень сердитое лицо пилота.

Мы начали искать мои вещи. Нашли ботинки. А где же платок? Увидала его повисшим на маленьком деревце, бросилась туда

5 Заказ 2463

и присела от неожиданности: в высокой траве недвижно лежал, будто отдыхал после тяжелой работы, немецкий солдат. И не было ему уже никакого дела до того, что творилось вокруг: руки широко раскинуты, открытые глаза неотрывно глядят в высокое небо.

Внимательно всматриваюсь в лицо и понимаю: он — мертв.

«Одинаково, совсем одинаково», — никак не могу отделаться от странной мысли, потому что они были похожи друг на друга — тот красноармеец, убитый в нашем дворе, и этот солдат. Закрыв глаза, дотянулась до платка, сорвала с ветки и бросилась прочь.

Виктор собирал коров в стадо.

— Быстрее тикаем отседова!

Мне понятна его спешка: на горке есть убитые и раненые. Догадась отыскать Звездочку и погнала ее от клеверного поля, за ней потянулись и другие.

Домой мы вернулись такие радостные и возбужденные, будто в тот день нежданно-негаданно получили очень дорогой подарок! Только мало кто поверил тогда в наш рассказ.

К удивлению, в тот вечер, как всегда, наша буренка дала полное ведро молока.

[illegible]ежданная радость

Помню, зима сорок первого и сорок второго пришла очень рано и сразу взялась за дело: [illegible] ни проехать ни пройти — и ударила морозами.

Зимой дел особых нет. Хочешь — играй, хочешь — книжки читай, а то и на улицу иди, гуляй. Но книжек нет, играть долго неловко, ведь не маленькая уже, а гулять не могу, потому что мне нечего обуть. Поэтому целыми днями мы с Иваном сидим на печи. На печке тепло, а слезешь вниз — тот же час охватывает холодом. Не обращая на это внимания, отогреваю на морозном окне небольшой кусочек стекла, смотрю во двор. Там высокие сугробы, очень редко кто-нибудь пройдет по тропинке, протоптанной в снегу. Но я не покидаю своего поста и с нетерпением жду, когда от Жени выйдут двое мальчишек.

Все знают, что это дети бургомистра и ходят они к ней затем, чтоб хорошо научиться говорить по-немецки. Бургомистр уверен: немцы пришли к нам навсегда и, выучив своих ребят чужому языку, он сделает их такими же большими начальниками, как и сам. Может быть, поэтому уже сейчас его сыновей называют «панками», а бургомистра — «господином». И я думаю, что господин — это человек высокого роста, а панок — маленького.

Краем глаза вижу Женино крыльцо и, чуть только улавливаю на нем движение, выскакиваю в коридор.

Панков провожает сама учительница в цветастом платке и в туфлях на высоком каблуке. Держась за перила, она смотрит, как маль

чишки, точно мячики, скатываются друг за другом с высокого крыльца, и уходит в дом.

Панки одеты в овчинные полушубки, обуты в новые толстые валенки, у старшего, для форса, на голове — немецкая пилотка. Распаренные, будто после бани, и очень важные, они держат под мышкой книжку и тетрадь, но я не сомневаюсь в том, что у каждого из них есть еще и карандаш.

Ноги мои совсем пристыли к полу, я постукиваю их друг о дружку, но из коридора не ухожу.

И вот, словно из-под снега, в самом узком месте тропки вырастает Витька Иванов. Панки останавливаются, потому что Иванов не думает уступать им дорогу, и, потоптавшись на месте, вынуждены идти на моего соседа. Чтоб казаться мощнее, Витька растопыривает руки. Да куда там! Дети бургомистра все равно и выше и толще его.

Поравнявшись с Виктором, старший выставляет вперед кулак в пушистой рукавице, а младший, цепляясь за брата, бьет моего соседа увесистыми валенками куда попало.

Но, изловчившись, Виктор срывает с головы панка пилотку, швыряет ее подальше в снег и бежит в наш коридор.

Проваливаясь по уши в наметенном со всего двора сугробе, панки лезут, чтоб выловить в снегу дорогую им вещицу. А мы с Виктором весело хохочем.

— Эй, панок, собачий сынок, укуси-ка свой задок!

Обозленные мальчишки грозятся издали:

— Батьке скажем, шкуру сдерет!

— Один грозил, да нос отморозил! — кричит в ответ Витька.

Ноги мои совсем заледенели. Заскакиваю в дом и быстро — на печку, на горячие кирпичики. Виктор тоже не прочь обогреться, лезет ко мне. Еще не успели обсудить происшедшее событие, как в избу вваливается немецкий солдат с огромным чемоданом.

— Матка, варм вода! — приказывает он с порога, весь заиндевелый, с побелевшими ушами и красным носом.

— Господи, и куды вас только гонят?! И лезут и лезут, как тараканы! — ворчит баба Аня.

— Москау капут! Сталин капут! — хлопает и постукивает ногами солдат, но никак не может согреться.

— Э-ээ, — пытается отмахнуться от него бабушка, — про твой капут баба надвое сказала.

— Я, я — согласно кивает головой немец, не понимая бабушкиных речей.

Он снимает шинель, берет и ставит на середину комнаты табурет, взгромоздив на него чемодан, отбрасывает крышку. В чемодане — блестящие коробочки, прозрачные пакеты, оранжевые фрукты, яблоки.

— Ворованное... все украл... — шепчу я Виктору на ухо.

— А ты откуда знаешь?

— Знаю, они всегда воруют...

Но Ивашка не слушает наших разговоров. Проворно скатывается с печки, встает рядом с чемоданом и смотрит на все восхищенны-

ми глазами. Немец, видно по всему, тоже очень доволен. Прежде чем прикоснуться к какой-либо вещи, щелкает пальцем, потом аккуратно извлекает ее.

— Мой сын — тоже Москва, — сурово говорит бабушка, протягивая немцу кружку с горячей водой.

— О-оо, — солдат никак не может взяться за посудину, — их понимать корошо: зон Москау, фатер драй киндо, — показывает он на печку.

— Да, ихний папка — фронт, Москва.

Бабушка часто говорит об этом, и я верю ей. Верит и Виктор.

Немец бреется, моется, чистится, словно должен пойти на какой-то праздник, одаривает Ивана заморским фруктом, нам с Виктором бросает на печку полбулки белого хлеба, закрывает чемодан и уходит.

Как-то незаметно мы съедаем хлеб, и Витька уже опять бежит на улицу. Я снова смотрю в окно. Однако как же плохо без обуви! Но ни мама, ни бабушка ничего не могут приобрести. Все, что предлагают иногда, очень дорого стоит. И, думая об этом, хочется плакать.

Однажды вечером к нам зашла тетя Поля и сообщила удивительную новость:

— Слыхали?! А может, видали?! Дед Гаврила у нас снова объявился!

Нет, об этом прежде мы ничего не слыхали, а также и не видали старика с тех пор, как он привез нас в город.

— Да, да вернулся, — утверждает Полина Егоровна. — На базаре ларек имеет. Ну как бы дело свое завел: валенки подшивает, чинит сапоги, говорили, что и новые может сшить. Вы сходите к нему, может, для Шурки-то и сообразит что-нибудь.

В моей груди от радости подпрыгнуло и сильно застучало сердце.

— Денег у нас нет, чтоб заказы-то делать, — отмахивается от поучений соседки баба Аня.

— Он, наверно, дорого берет, — говорит мама.

— А вы не гадайте, а подите да узнайте, — продолжает убеждать тетя Поля, — а то девчонка мало того что кое-как одета, да еще и босая. А война-то, видать по всему, длинная будет. Москва не сдается!

— Надо сходить, — соглашается мама, — может, и правда поможет, только кажется мне, ничего он не умеет делать.

«Это надо же! Вернулся!» — с восхищением думаю я о Гавриле Прохоровиче и никак не могу уснуть. Очень уж хочется, чтоб как можно быстрее наступило утро.

«Как долго шел... Кончилось лето, прошла осень, наступила зима, а дед все шел и шел».

Посмотреть бы на него да послушать, где бывал, что видал. Теперь-то я ничуть не боюсь белобородого старика, хоть Лешим, хоть Водяным он назовись, знаю: шутил дед про все это.

«А ходил-то, видать, далеко. И сивка-бурка с ним. Очень дорогую «связь» искали. Клубочек катится, а они за ним поспешают Связь...» — Но это мне уже во сне снится.

Проснулась рано и сразу стала собираться к деду.

Мама дала мне свои ботинки — тяжелые, большие, некрасивые. Как бы в таких-то не засмеяли, не в поле коров гоню, а на базар иду. Да ничего не поделаешь, других нет.

Комендантский час кончился, и мы с бабой отправляемся на другой конец города. Я крепко держусь за нее, чтоб не запнуться и не упасть.

Поутру на базар спешат горожане, из ближних деревень идут пешком и едут бабы в крестьянских розвальнях. Как черные псы, туда-сюда шныряют полицаи. Некоторых людей останавливают и требуют от них документы.

Гаврилу Прохоровича мы нашли в старом заброшенном ларьке, на окраине базара.

На стук дед выглянул в маленькое оконце, сразу узнал нас и весело загудел:

— Вот кто ко мне припожаловал! И Касаточка прилетела ясноглазая, а кругом мороз, кабы крылышки-то не приморозила.

Выбежал навстречу и потащил меня за руку в свое жилье.

Я огляделась: посредине ларька стоит самодельная печурка, в углу — ящик с инструментом и сапожная колодка, а вдоль стенки — узкая лавка, застланная потертым стеганым одеялом. Чайник, кружка, миска — вот и все. В дощатых стенках — щели, на полу — дыры.

— Неужто и проживаешь тут?! — спрашивает бабушка, не меньше моего пораженная увиденным.

— А куды ж мне деваться, горемычному? — Я вижу, что борода у деда стала еще белее, а сам он еще старее. — Хатки у меня теперь нет, немцы спалили. Кобылку полицаи отобрали. Кое-какой инструмент уцелел, — дед показал на ящик, — так в нем все мое богатство, с ним и сплю в обнимку. Ежели пропадет — с голоду помру.

Хоть и рассказывал дед Гаврила о своих бедах, но очень уж озорно и весело поглядывал на нас. И правда, должно быть, был доволен и трухлявым ларьком, и холодом внутри него, и убогой обстановкой.

— К нам-то что возвернулся, мил человек? — опять спрашивает бабушка. — Я так понимаю, что шить да подшивать и в своих краях можно было, а ты все же к нам прибился. Скажи, зачем, коль секрету нет.

— Да что ты, сударушка, никакого секрету! — заспешил в разговоре дед Гаврила. — Народу-то теперь в наших краях маловато, а стало быть, и заказов никаких. А у вас тут город, станция, людно у вас, стало быть, прокормиться легче.

— А может, и правда твоя, Прохорович, — неуверенно говорит бабушка.

— Истинно правда, сударушка! — как будто радуется чему-то Гаврила Прохорович. — У меня намедни ажно сам полицай сапоги чинил и остались довольны. Делу моему и мне лично поддержку обещали.

— Ай, не веди ты про них разговор, — сердится бабушка, — нелюдье это.

— Ну не вести, так и не вести, — быстро соглашается Гаврила Прохорович. — Я вот вам сейчас кипяточку соображу и как бы чайком угощу, — засуетился он.

— Да не хлопочи ты, мил человек! — останавливает его бабушка. — Не за тем мы к тебе пришли, чтоб чаи распивать. Беда у нас.

Дед даже подскочил на низеньком табурете.

— Аль случилось чего?! — и глаза его в тревоге уставились на бабу Аню.

— Внучка у меня разутая, Гаврила Прохорович, обуть совсем не во что.

— Фу ты! — Дед распахнул пиджак и потер широкой рукой левый бок. — Тоже мне, нашла беду, старая! — Повернулся ко мне: — Это ж радость — такую-то пригожую девчонку да в сапожки расписные обуть! — Он стукнул себя кулаками по коленям. — Э-эх держись, не пойдешь, а полетишь! — И снова, как когда-то давно в лесу, подмигнул мне.

Я засмеялась.

— Платить-то у нас нечем, мил человек.

— Ну нечем, так и нечем, — отмахивается от бабушки Гаврила Прохорович и развязывает шнурки на моих неуклюжих ботинках. — Мерку сыму, в три дни готовы будут. Что царевна твоя внучка станет.

Мне радостно, и я смеюсь еще громче.

— Мы молочком отблагодарим, картошкой, — все еще ведет торг баба Аня.

— Отблагодарите, отблагодарите, — ворчит старик, а сам вычерчивает черным угольком мою ступню на картоне.

Три дня тянулись так долго, что, казалось, им не будет конца. На четвертый мы снова отправились на базар. Бабушка взяла жбан молока, кружку сметаны, узелок с картошкой.

— Может, и не сделал ничего, а покормить все одно надоть. Уж больно отощал старый со своими бегами, кожа да кости остались.

Но я почему-то была уверена, что дедуся меня не подведет.

Гаврила Прохорович поджидал нас у ветхого ларька, еще больше засыпанного снегом, отворил дверь настежь. Я заглянула внутрь, да так и ахнула. На лавке стояли чудные маленькие сапожки! Голенища у них войлочные, а носы и задники обшиты желтой блестящей кожей. Подошва тоже кожаная.

— А ну-тка, погляди-ка! — Гаврила Прохорович разворачивает бурки.

Я вижу, по бокам пришиты, будто вышиты, цветочки.

— Красоту-то какую изобразил! — удивляется бабушка.

— А я что говорил?! — радуется дед вместе с нами. — Не ходить, а летать в таких будет наша Касаточка.

Мне не терпится поскорее обуть новые сапожки.

А бабушка тем временем выставляет на ящик еду.

— Это тебе, Гаврила Прохорович, на поправку. Уж больно хороших коров ты тогда присоветовал взять, добром поминаем.

— А ты, сударушка, лучше про то никому не сказывай, — он по

низил голос. — Не любит нова власть тех, кто по лесам-то пряталси. Ох как не уважает!

И бабушка согласно кивает головой: поняла, мол, все.

Я уже обула бурочки, и хоть пляши в них: легкие, теплые. Уходя от деда, машу ему рукой, а самой кажется, вот-вот взлечу!

Вернувшись в свой двор, домой не иду, а прохаживаюсь туда-сюда, но во дворе, как назло, никого нет. Витька и тот куда-то запропастился. Но мне просто необходимо, чтоб хоть кто-то увидал обновку. Я взбегаю на Женино крыльцо, стряхиваю в коридорчике снег, вхожу в дом.

За столом, что стоит посредине комнаты, сидят Евгения Алексеевна и панки. Все трое поворачивают головы, смотрят на меня.

— Здрасте! — говорю я.

— Вер ист дас, Пиито? — произносит Женя по-немецки, указывая на меня длинной линейкой.

— Э-ээ, — таращит глаза старший из панков, — э-ээ... — но ничего не может сказать.

— Вер ист дас?

Из-за перегородки, разделяющей домик на две половины, выбегает Сережа.

— Дас ист медхен! — смеется он.

— Повторяем все! — требует Женя, снова указывая на меня. — Вер ист дас — кто это?

Ничего не остается, как повторять вместе со всеми.

Младший панок исподлобья глядит в мою сторону.

— А что она учится вместе с нами? Пускай замолчит, оборванка.

Евгения Алексеевна с такой силой хлопает по столу толстой линейкой, что все вздрагивают.

— Прекратить разговоры! — Лицо у нее сердитое, голос строгий. — Я сказала, повторяют все! Дас ист медхен. Это девочка. Зии хайст Саша. Ее зовут Саша.

Я растеряна и повторяю вместе со всеми:

— Ее зовут Саша...

Евгения Алексеевна берет со стола ложку, держит ее перед носом младшего панка:

— Вас ист дас?

Теперь силится что-то выдавить из себя младший брат, и опять помогает Сережа:

— Это лёфель.

— Тебя не спрашивают, молчи! — приказывает ему Женя. — Хеэр Пиито, вас ист дас?

— Э-ээ дас ист люфеля...

— Лё-ё-фель, — поправляет его Женя.

— Вас ист дас? Что это? — Повторяем мы за Евгенией Алексеевной. — Дас ист лёфель. Это ложка.

— Гут, — говорит Женя. — Урок окончен.

И панки выскакивают из-за стола как ошпаренные. Хватают по-

чушубки. Старший натягивает поглубже на голову немецкую пилотку.

— Петя, ты не отморозишь уши? — спрашивает Евгения Алексеевна.

— Не-ее, — не отрывая глаз от пола, отвечает панок.

— А мне папка тоже такую справит, — хвастается младший. — Вот токо подрасту маленько, а то сейчас эту пилотку у меня вместе с башкой оторвут.

— Пошли, дурак! — толкает в спину словоохотливого брата старший.

— Ауф видорзеен! — говорит им на прощание Женя, но проводить, как обычно, не выходит. — Что скажешь, Саша? — спрашивает она меня.

Я никак не могу прийти в себя от урока немецкого языка, поэтому молчу.

— Милая Саша... милая Саша... ко мне бросается Сережа и обхватывает мою шею руками.

Но почему-то я теряюсь еще больше, а Женя смотрит на нас и улыбается.

— Я вижу, у тебя новые сапожки, — наконец-то начинает она разговор.

— Ага, — я потихоньку отталкиваю от себя мальчишку, выставляю ногу вперед. — Бурочки звать «Подарочки». Дед Гаврила смастерил.

— А кто такой дед Гаврила?

Вот это да! Оказывается, она забыла Гаврилу Прохоровича.

— Дед Гаврила... дед Гаврила... не знаю, что и сказать ей на это. — Он привез нас в «окупацаю» Помнишь?

— Нет, совсем не помню, — не раздумывая, решительно говорит женщина.

Я смотрю на нее.

— А у меня что-то есть! — весело восклицает она и протягивает большую плитку шоколада. — А ну-ка, Саша, раздели пополам! Тебе и Сереже, а мне не надо, я не люблю сладкое.

«Какой же человек эта Женя! Шоколад не ест... Все деда Гаврилу помнят, а она забыла. Чудно́...»

Зачем идут в комендатуру?

А спустя несколько дней в нашем доме появилась совершенно незнакомая женщина. Она вошла без стука, не отряхнув снег, прошла на середину избы, огляделась. Только после этого села на табурет, даже не сняв пальто.

Все это показалось мне очень интересным. Я кубарем скатилась с печки, чтобы получше рассмотреть странную гостью.

У женщины на голове — шляпа, на руках — перчатки, а на пле

чах развешан воротник из целого зверя — с пушистым хвостом, коротенькими лапками и маленькой засушенной головкой. Незрячие глазки-бусинки так и поблескивают в рыжем меху.

Нет, сколько помнится, такой у нас прежде не бывало. Поэтому и бабушка смотрит на гостью с недоумением.

— Что, старая, не узнаешь? — насмешливо спрашивает та.

— Не узнаю, — кратко отвечает бабушка.

— А ты лучше смотри, может, и признаешь, кто я такая.

И мы с бабой еще пристальнее вглядываемся в незнакомку. Ее щеки напудрены белой пудрой и подкрашены густыми румянами, а глаза так быстро-быстро бегают по комнате.

— Да никак Лизка Шершнёва — Мишки Рассады дочка?! — дивится баба Аня.

— Ну все собрала в кучу: и Шершнёва, и Рассаду, — морщится от бабушкиных слов гостья. — Шершнёвы мы всегда были, а почему папку Рассадой звали, я не знаю.

— А я знаю, — решительно заявляет бабушка. — За что, бывало, ни брался Мишка Шершнёв — ничего до конца не доводил. Поэтому и прозвище такое — Рассада.

— Да он уж сгнил давно в могиле, а ты все долдонишь про Рассаду.

— Правда твоя, — как будто соглашается бабушка, а сама не перестает поучать Лизку, — но только прозвище, даденное народом, не помирает, оно детям по наследству достается. От прозвища, ежели оно нехорошее, не словами, а делами отбиваться надоби.

Глаза у Шершнёвой перестали бегать и остановились на бабушке.

— А ты, старая, за меня не переживай. Это я раньше определиться не могла, а теперь я при деле, таком деле... — но рассказать сразу, что у нее за дело, Шершнёва так и не смогла, будто в горле что-то застряло — поперхнулась на полуслове.

Однако бабушка согласно закивала головой, словно поняла всё.

— Да я тоже мыслю: работа у тебя такая — не нашим заботам ровня, — говорит она, разглядывая Шершнёву со всех сторон, то справа зайдет, то слева встанет. — Ишь, как разодета, что барыня!

Видно, на этот раз бабушкины слова понравились Лизавете. Она подобрела лицом, и из-под румян показался естественный румянец на щеках.

— У меня теперь все есть: масло, сахар, яйца — сколько хочу. А об одежде, обуви — никакой заботы. Прихожу на склад: там добра со всего города собрано, бери, что только пожелаешь.

— Эвона как ты им по нраву пришлась! — еще сильнее изумляется бабушка. — И к чему бы это? Талантов у тебя вроде особых нет... а-аа...

Лизка снова впивается взглядом в бабушку, опять та чем-то не угодила ей.

— Ты запомни: в столовой я у них работаю. Офицеров обслуживаю. Принесу, подам, уберу — такая у меня работа. Вот если бы Феня не была дура — не ходила б в опорках...

Но баба Аня не дала договорить Шершнёвой, замахала руками:

— Что ты! Что ты! Не сумеем мы, как ты, в лисах ходить. Ты у нас, должно, одна такая...

— Ну, довольно! — обрывает хозяйку дома странная гостья. — Не затем я пришла, чтоб пустые разговоры разговаривать. — Шершнёва мельком повела недобрым взглядом в мою сторону, но, видимо, решила, что я не помешаю, продолжила: — Мне надо знать, что за краля тут в вашем дворе проживает, Евгения, кажется, зовут?

Бабушка как-то странно подпрыгнула, еще больше приблизилась к Лизке, наклонила к ней голову:

— А зачем она тебе нужна?

— А затем, — Лизка усмехнулась, — что я новой компании ищу, скушно теперь с такими, как твоя Феня. Для времяпровождения новой подругой обзавестись желаю.

— Так вон оно што... — бабушка пошла за другим табуретом, принесла его, неспешно села напротив Шершнёвой и только после этого твердо сказала: — Ты на нее не рассчитывай, Лизавета, не будет она с тобой дружбу водить.

— Это почему же?!

— Потому... — бабушка помолчала, наверно, чтоб хорошо все обдумать, потом сказала: — Ты ведь Мишки Рассады дочка, а она самого Попова.

— Ну и что ж из того? — У Лизки снова бегают глаза, качается нога, а пальцы дергают лисий хвост.

— Ты только не обижайся на меня, старую, но скажу прямо: с такими, как ты да мы с тобой, энта девка на одном поле лен теребить и то не станет.

Лизка пренебрежительно махнула рукой:

— Уж больно ты высоко о ней поешь. — И спросила строго: — А ты точно знаешь, что она Попова дочь?

— Знаю, как и про то, что ты Шершнёва. Попова она. Похожа на мамку свою, что две капли воды. А Поповы с простонародием никогда не водились.

— Таких-то вот разборчивых Советская власть к стенке ставила. — Лизка качнула ногой. — Или скажешь, не было этого?

— Почему ж не было? Было. Да только оне форс-то свой все одно при себе оставили.

— Значит, ты подтверждаешь, что она Попова Евгения?

— Подтверждаю, — отрезала баба Аня, встала и понесла табурет к столу.

— Ну, ладно, — Лизавета тоже поднялась, — подумаю, о чем ты мне наговорила. Может, и правда нет резона с такими-то дружбу водить, все-таки батька у нее расстрелян.

— Ага, расстрелян, — согласилась баба Аня, — в двадцать седьмом годе.

Лизка ушла, оставив на полу лужицу из талого снега. Бабушка, припав к окну, принялась кого-то высматривать сквозь заиндевелое

стекло. Я собралась было снова лезть на печку, где дремал Иван, как вдруг слышу:

— Шура, мигом одевайся! — бабушка чем-то встревожена, да так сильно, что я не раздумывая хватаю пальто и платок.

— Быстрей! — торопит она меня.

Спешу, но никак не могу засунуть руки в рукава.

— Беги за ней, окаянной! Да так, чтоб тебя не видно было. Следи до конца, а ежели на дороге остановится, говорить с кем-нибудь станет, запомни, что за человек. Ужо узнаем, на какую она работу устроилась.

На ходу повязываю платок, бросаюсь к двери...

— Стой! — держит бабушка за полу пальто. — Все уразумела?

— Все!

— Смотри только на глаза ей не попадись, — просит старая, а у самой такое перепуганное лицо, словно я уже попалась Лизке не только на глаза, но и в руки.

Я выбегаю из дома. Скоро нагоняю Лизавету.

Шершнёва идет по краю заснеженной дороги, идет не спеша, будто прогуливается. Чтоб меня не заметили, спешу за ней не по дороге, а узкой тропкой, с двух сторон которой сугробы такие высокие, что порой закрывают меня с головой.

У бывшего магазина Шершнёва остановилась, посмотрела в широкие заиндевелые окна и быстро свернула в сторону, прибавив шаг.

Но мне совсем не трудно гнаться за ней, хоть и шагает она широко. Дедовы сапожки будто сами бегут.

«Сапожки расписные, носочки золотые... Ух ты!»

Я и не заметила, как оказалась около комендатуры. Именно сюда привела меня Лизка Шершнёва. Однако вверх по парадной лестнице она не поднимается, а огибает здание сбоку, скрывается за углом.

Бросаюсь вслед за ней, с разбега налетаю на сугроб и зарываюсь в глубоком снегу. Поднимаю голову, ищу глазами Лизку...

Задворки комендатуры... Ровная мощеная площадка, посреди которой стоит человек, босой, в нижней рубахе, запекшейся на теле коричневой коркой. Мужчина, широко расставив ноги, всей грудью вдыхает морозный воздух. Позади него — трое полицаев.

Лизка Шершнёва топчется у края площадки, не решаясь пройти мимо. Но, прикрыв лицо хвостом рыжей лисы, спешит к черному ходу комендатуры и скрывается за дверью.

Я тоже хочу убежать прочь, а сама еще глубже оседаю в снег. Сверху с кустарника падает рыхлый ком, обсыпая мои голову и плечи.

Босой человек делает шаг, другой, третий, оставляя на снегу темные следы. Кажется, он видит меня и спешит именно ко мне. Еще немного, и он будет рядом... Я почти не дышу... Очень хочется, чтоб он дошел... Обязательно дошел...

Из комендатуры выскочил офицер.

— Шнель! — заорал фашист, и полицаи вплотную приблизились к мужчине.

— Что, шелудивые псы? — вдруг раздается звучный голос буд-

то ожившего на морозе человека. — Страшно?! Знаете, какая сила стоит за мной?!

Полицай размахивается и одним ударом валит человека на землю.

— Шнель!! — истошным голосом вопит немец.

Все бросаются поднимать упавшего.

— Прочь, короста!!!

Человек поднимается сам. Голова и туловище его наклонены вперед, только бы сделать шаг... Но нет, дойти до меня он уже не может.

— Прощайте! Иду на смерть! — кричит он то ли мне, то ли низко нависшему над нами хмурому небу. — Прощайте-ее!...

Прикладами винтовок его гонят к крытой машине, что стоит на противоположной стороне, заталкивают внутрь. Туда же лезут и полицаи. Офицер садится в кабину, и машина уезжает.

«Прощайте-ее!» — как будто все еще звучит это слово. Выбираюсь из сугроба, что есть силы бегу домой. «Прощайте-ее!» — несется вслед.

— Баба! — Я с трудом перевожу дыхание, не зная, что и поведать ей в первую очередь. — В комендатуру Лизка вошла... только не в большую дверь, а в маленькую... со двора... где человека убивают...

— Ах, вражина! — и баба грохнула клюкой об пол. — Пришла затем, чтоб выведать, что я знаю, о чем болтать буду. — И она еще сильнее гремит палкой об пол.

Но я понимаю только одно: бабушка не желает, чтобы у Жени была такая подруга, как Лизка Шершнёва.

— Господи, помилуй! А все ли я говорила так, как надоби-то? — охнула бабушка и будто бы обмерла от собственных слов. — Вишь ли, к Евгенье Ляксевне в подружки набилась, а зачем? Может, она, сатана, нас всех погубить задумала?

Бабушка спрашивала вслух, а ответить не могла. Немного погодя мы отправились к Евгении Алексеевне, прихватив с собой жбан молока.

Женя приняла нас радушно. Заставила снять пальто, усадила за стол, налила горячего чая в чашки с блюдцами. Поближе ко мне поставила сахарницу, доверху наполненную кусочками сахара.

— Сегодня у нас тоже гостья была, — начала бабушка, почему-то неодобрительно поглядывая на сахар, — все про тебя расспрашивала, кто ты да что.

Женя слушает внимательно.

— Лизавета Шершнёва зовут ее. Говорила она, что в немецкой столовой работает, да я что-то не поверила. И правда моя оказалась. Лизка та, выйдя от нас, прямо в комендатуру направилась. Вот Шура — она свидетель.

Я тоже пью чай, но не как бабушка из блюдца, а из чашки и с сахаром. И волнует меня не Лизка Шершнёва, а тот человек, которого увезли в машине.

— Он большой-большой и сильный-сильный. Полицаи его боятся, винтовками от него загораживаются, — рассказываю я. — Кричит

мне: «Прощай!» Значит, насовсем его увезли, а то не стал бы прощаться, сказал бы просто: «До свиданья».

Меня тоже выслушали внимательно. Помолчали.

— Лизке я так и сказала, — опять о своем заговорила бабушка,— не подруга она тебе, и про то сказала, что на мамку ты свою похожа.

Женя отрывает взгляд от чашки, весело смотрит на нас.

— А знаете, Анна Андреевна, — говорит она, — я очень рада, что вы наконец-то заглянули ко мне. Я сейчас нуждаюсь в человеке, который помогал бы мне по дому.

— А сама что же? — строго спрашивает бабушка. — Не в силах?

Женя ответила не сразу.

— У меня теперь дел будет много, я на службу поступила к немцам... в комендатуру.

Баба Аня открыла рот, но так ничего и не сказала, только брякнула чашкой о блюдце, да так сильно, что я забеспокоилась: уж не разбила ли она красивую посуду?

Мы ушли, забыв поблагодарить хозяйку за чай.

«И зачем она идет в комендатуру?» — долго думала я о Жене в тот вечер.

Бомбовый удар по цели

Точно не помню, но кажется, раза два в неделю Гаврила Прохорович непременно появлялся на нашей улице. Дед толкал впереди себя коляску и нараспев, громко оповещал всех:

— В починку-уу беру-уу, обувку чиню-юю, совсем новые делаю быстро, а старые еще быстрей-эй-эй.

Заслышав его голос, я выбегала из дома. Дедова тележка часто вязла в снегу, и я помогала ему сдвинуть ее с места. Эта нескладная громоздкая развалина очень нужна была ему: в ней лежал инструмент, дратва, войлок, обрезки кожи. Протащив возок с одного конца улицы на другой, дед Гаврила останавливался и ждал, когда бабы, девчонки или мальчишки принесут что-нибудь в починку. В основном тащили такое старье, что Гаврила Прохорович хватался за голову.

— Да энти валенцы годов двадцать тому назад свое отплясали, а теперь их разве что вороне в гнездо, да и то больно страшны для такой надобности.

Но сапожника уговаривали, доказывали, что они еще «ничего», а за работу он получит меру гороха. И Гаврила Прохорович соглашался:

— Ладно, уговорила. Кидай до кучи!

Обувь бросали на тележку.

— А-аа чиню-юю, чиню-юю... — продолжал зазывать дед.

Зима, мороз, а дед Гаврила, одетый в суконную куртку, обутый в желтые сапоги, снимает треух и вытирает им разгоряченное лицо.

Мне он представляется каким-то особенным человеком: чудако

ватым, но и интересным, не таким, как другие. Хочется угодить ему, сделать что-нибудь хорошее, и я принимаюсь наводить порядок в тележке. В один ряд ставлю сапоги, ботинки, в другой — валенки. Обрезки войлока, кожи связываю бечевкой, и обязательно с бантиком.

— Ну и помощница у меня! — хвалится всем дед. — Ну и аккуратница!

Постояв на одной улице, мы перетаскиваем тележку на другую, потом идем дальше. Однако за услугами к сапожнику обращаются редко: не каждый может позволить себе такую роскошь.

— Ничего, дочушка, ничего, — дед задирает кверху белую бороду, выпячивает грудь, — жить будем, так не помрем.

— Не помрем, деда, не помрем! — весело соглашаюсь я с ним.

А отчего бы и не порадоваться?! Всем известно теперь, что фашисты Москву не взяли! А еще по всем приметам видно: длинной зиме наступает конец и весна не за горами!

Однажды, в самом начале марта, на удивление старику, да и мне тоже, на улицу вышла Евгения Алексеевна и прямехонько направилась к нам.

— Вот это краля! — прогудел пораженный дед, рассматривая женщину из-под руки.

На плечах у Жени пушистый воротник переливается на солнце черно-белым густым мехом, на ногах коротенькие фетровые сапожки, крохотная шляпка надвинута на лоб. И пальто на ней какое-то необычное: плечи широкие, талия тонкая, а внизу пышные складки так и разлетаются во все стороны. Идет и будто ничего не замечает вокруг.

И кажется, что к нам приближается какая-то другая Женя, а совсем не та, которую я знала прежде.

Подошла, на меня даже и не взглянула. Не здороваясь, развернула сверток и вручила деду совершенно новые ботинки.

— Мой племянник желает, чтоб на них были подковы, — и Евгения Алексеевна показала, где их следует набить: одну пару — на носочки, другую — на каблуки.

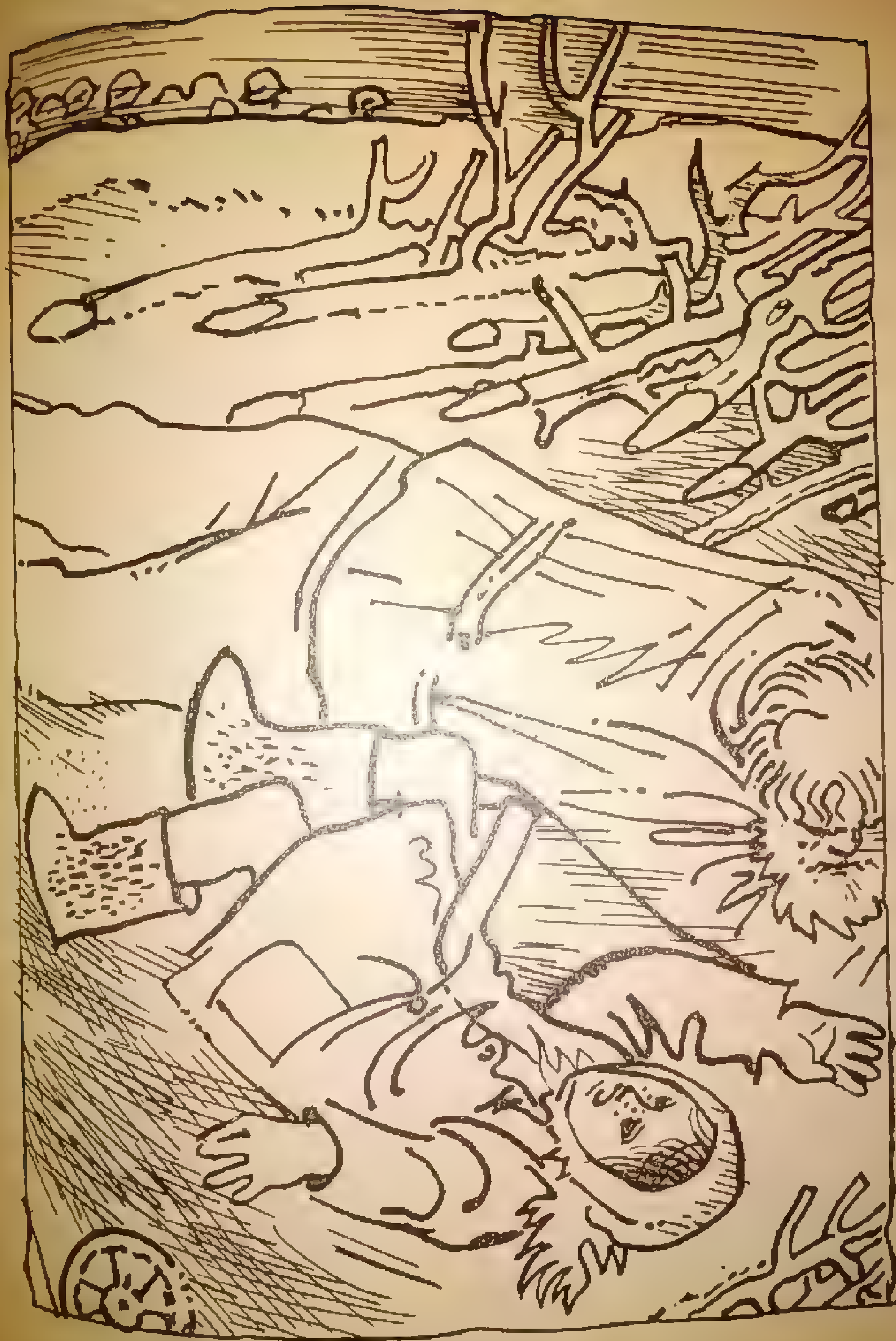
— А где ж их взять, подковы-то? — растерялся дед Гаврила. — Ноне товар дюже редкий, да и дорогой.

— Достань и сделай как велю. Я хорошо заплачу тебе, старый. Марками. — Не снимая тонких мягких перчаток, открыла ридикюль, достала бумажку, сунула ее в ботинок.

— Тогда будьте покойны... Тогда как-нибудь расстараемся... — раскланивается Гаврила Прохорович, а молодая женщина быстро уходит прочь, оставив в воздухе запах ароматных духов.

— Видал? — подмигнул довольный дед. — Немецкими марками платит за работу, а энто вещь, сама знаешь. — Осторожно вынул бумажку из ботинка, спрятал ее за наушник треуха. — Ах и хороша же фрава!

«Подумаешь... фрава комендатурская, что и Лизка Шершнёва, только больше разнаряжена...» — Я хватаюсь за ручку коляски, пытаясь сдвинуть ее с места.



— Э-ээ, погодь маленько! — грозит дед Гаврила пальцем. — Характер-то свой не показывай, а то пупок надорвешь. — А сам смеется.

Отправляемся дальше.

— А-аа чиню-юю, чиню-юю...

Мы недалеко от вокзала: слышно, как грохочут составы, бьются друг о дружку вагонные буфера. Но здесь совершенно безлюдно, как будто все живое вытеснили громадины-танки. Они и под крышами домов, и во дворах, и просто в узких переулках.

— А где ж тутошний народ? — гадает Гаврила Прохорович. — Наверно, прогнали всех, а мне клиенту сапоги надо вернуть. — Дед зорко смотрит по сторонам, но не кричит, о своем прибытии не сообщает. — Назад поворачиваем, а то как бы нас тут не пристрелили. — Разворачивает тележку, толкает ее вперед, но та, облепленная влажным снегом, не двигается с места. — Вот тебе раз! — И Гаврила Прохорович еще сильнее налегает на возок.

Мне непонятно, чем он так обеспокоен. Присматриваюсь и узнаю дорогу, ведущую от города к станции. Она изрыта гусеницами танков, разбита глубокими колеями от военных машин. Кто-то срубил вдоль нее все деревья и сбросил вниз — под откос.

Действительно, поскорее бы уйти отсюда, но коляска словно приковала нас к себе: возимся с ней, она ни назад, ни вперед...

Гитлеровские солдаты так неожиданно появились на дороге, что дед Гаврила даже присел за тележкой, будто намеревался спрятаться за ней.

— Мать честная! Да это ж они [illegible]т не менее как полк размещают, — говорит он и приказывает мне: — Уходи, Саша!

Солдаты идут прямо на нас, держа шаг, строй, выправку...

— Беги сейчас же!

Но мне думается: нет ничего более важного в этот момент, как столкнуть тележку с места. И я трясу ее из последних сил...

Вдруг рывок необыкновенной силы отрывает от земли коляску и меня вместе с ней, и мы катимся вниз по крепкому весеннему насту: тележка впереди, а я за ней. Натолкнувшись на ветки срубленных деревьев, останавливаемся. Сверху прыгает дед Гаврила. Дорогу освободили вовремя.

Строем идут солдаты. Ряды, ряды... от которых вскоре стало рябить в глазах. Проехал обоз, полевая кухня. Наконец-то все исчезли из виду.

Можно и передохнуть. Гаврила Прохорович отряхнул бороду от снега, надел шапку, которую прятал за пазухой, сказал строго:

— Ты, Александра, не умеешь выполнять приказы, а потому мне более не товарищ. Марш домой!

С недоумением смотрю на деда, с трудом сдерживая слезы обиды: всю жизнь учили — помогать старшим, а тут вместо похвалы — выговор, да еще какой!

Дед собирает свое барахло, разлетевшееся куда попало, я лезу вверх по крутому склону, чтоб выбраться на дорогу. Слезы текут из моих глаз, и в ту минуту я уверена: несчастнее человека, чем Шурка

Краскова, нет на свете. Женя меня не замечает, а Гаврила Прохорович прогнал прочь...

Самолеты появились на другой день. Нежданно-негаданно в небе раздался такой мощный гул, что все — от мала до велика — тут же высыпали на улицу. Люди глядели вверх, где стройными рядами, в свете мартовских сумерек, проходили краснозвездцы.

— Наши!!

Завыли сирены воздушной тревоги.

Из дома, накинув пальто на плечи, выбежали Женя с племянником. Вприпрыжку они пересекли двор и ринулись в подвал одного из строений. За ними поспешили другие. Даже моя бабушка без клюки, да еще с Ивашкой на руках, не отстала от других.

На какое-то время самолеты исчезли за горизонтом. Но вот первый строй показался вновь и, опуская носы книзу, пошел в сторону железной дороги.

От неожиданного толчка в спину я упала, и в тот же миг земля вздрогнула от сильного взрыва. В ответ озлобленно застрекотали немецкие зенитки. Подняла голову: рядом со мной мама. Она смотрела в ту сторону, где высоко в небо взметнулся огромный столб пламени и в воздухе плавали горящие головни и что-то похожее на лохмотья.

— Бьют по цели! — на красном от всполохов лице матери застыла улыбка.

Обхватив меня за плечи, она поползла в сторону дома с подвалом, который с этого момента стал нашим бомбоубежищем.

Гул самолетов, удары пушек, зениток, взрывы бомб — все слилось в единый грохот.

По крутым ступенькам мы скатились в подвал. Нас подняли, усадили.

— Ну что там?! Как?! – расспрашивали женщины, как будто мы невесть сколько времени пробыли под бомбежкой.

— Похоже, бомбят только станцию и железную дорогу.

— Да там все ихнее хозяйство: и танки, и цистерны с горючим, и машины, не считая солдат. Резервы... А наши как-то узнали.

— А то не узнают? Это нам только думается, что про нас ничего не ведают.

— Ну, теперь держись!

— Тише вы! — прикрикнул кто-то на женщин. — Раскудахтались, курицы, а про хорька забыли. — Я узнала голос Полины Егоровны.

Еще раз вздрогнула земля, в дальнем углу что-то хрустнуло и затрещало.

Все подались ближе к выходу. Сквозь приоткрытую дверь в темный подвал ворвался красно-багровый свет.

Но вот стрельба начала стихать. Самолеты улетали.

Я первая вылезла наверх. На улице было светло как днем. В районе вокзала, казалось, горело все: и земля, и небо, и дома, и железная дорога.

— Вась ист даст?! Вась ист даст?! — прыгает вокруг меня Витька Иванов. — Фюреру выбили правый глаз!

1. Заказ 2463

Теперь я понимаю, чего так боялся Гаврила Прохорович, оказавшись около железной дороги. Это самое опасное место в нашем оккупированном городке: самолеты бомбят, а бомбы попадают в цель.

Разноцветные события

Весна оказалась на редкость холодной. Однако в первых числах мая все равно потеплело, и за одну ночь на деревьях проклюнулись почки.

Я стою у ворот, греюсь на солнце, а настроение — хуже некуда. Да и чему радоваться?

За зиму коровка отощала и стала так мало давать молока, что едва хватает Ивану. Маму почти каждый день угоняют на работу. Дед Гаврила нет-нет да и появится на нашей улице, но я уже не спешу, как прежде, ему на помощь. Знаю, он сильный и с тележкой легко справится сам. Да и не могу я еще забыть, как он прогнал меня.

Железную дорогу опять восстановили, а в городе стало еще больше солдат, и по нашей улице все время ходит патруль.

А еще я думала о том, что вчера мне исполнилось девять лет, но никто об этом не вспомнил, да и сама я забыла о собственном дне рождения.

Мои невеселые раздумья неожиданно прервал немецкий офицер. Он шел к нашему дворику и улыбался. Улыбался всему, что попадалось ему на глаза: весенним лужам, шумливым воробьям, зеленым проталинам.

«Чудно́...» — я незаметно передвинулась с освещенного места в тень.

Немец остановился совсем рядом, осмотрел забор, ворота, перевел веселый взгляд на меня.

Впервые я открыто смотрю в лицо немецкому офицеру. Оно казалось нормальным, даже красивым: румяная гладкая кожа, весенние теплые глаза зеленого цвета, светлые ресницы.

— Я хочу видеть Женя Попова, — сказал он.

— Ага, ага, — заволновалась я, сама не зная почему, прыгнула за ворота, показывая ему дорогу.

Высокий, прямой, он не шел, а печатал шаги на сыром песке, не вынимая руку из-за борта серо-голубой шинели. У крыльца Женниного дома остановился и осторожно извлек маленький букетик подснежников. Перевернул цветы головками вниз, слегка встряхнул беломолочные капли, застывшие на тонких зеленых веточках. Внимательно осмотрел букет, снова потряс, как будто ждал: вот-вот раздастся необыкновенный мелодичный звон.

«Чудно́!»

До войны мы тоже рвали подснежники. А сейчас кто бы обратил на них внимание? До цветов ли теперь? Я во все глаза смотрю на необычного немца.

Другой рукой он извлек из кармана плитку шоколада в яркой обертке и протянул мне:

— Биттэ, — и торжественно пошел вверх по ступенькам. Наклонив голову, шагнул в коридор, скрылся за дверью.

Круглое солнце так щедро льет тепло на землю, что я чувствую, как начинаю отогреваться. Скоро сниму с головы серый некрасивый платок, хорошенько расчешу волосы... «Эх, мне бы платьице, туфельки... — мечтаю я сразу обо всем на свете: должно быть, и в самом деле странный немец перевернул мои мысли вверх тормашками. — А цветы-то, цветы зачем ему нужны?» — пытаюсь я разгадать трудную загадку, дожидаясь его возвращения.

Наконец-то дверь начинает медленно открываться...

Я опрометью бросаюсь к первому попавшемуся укрытию, прячась за кучей дров.

На крыльцо вышел Сереженька, [illegible], без тетки. С унылым видом оглядел двор и стал медленно спускаться вниз, звонко цокая подковками, которые ему [illegible] Гвинта. Взял тоненький прутик, погонял им в луже талую воду, [illegible] вздохнул, пошел со двора на улицу.

Я и сама не знаю, зачем прячусь. Должно быть, надеюсь, притаившись в укрытии, [illegible] происходит вокруг.

— Да это же он! [illegible] стороны подсказал мне.

«...Тот самый при[illegible] сделал волшебный шар фонарь и теперь, пере[illegible] немецкого офицера, ищет его повсюду. Именно [illegible] тот светил своим светом и все видали это... — М[illegible] [illegible] — А как узнает, что эта вещь теперь у меня, [illegible] искать Шурку Краскову...»

Но время шло, а [illegible].

И тогда я сама решилась отправиться за ним. Вошла в дом, забыв постучать в дв[illegible] и в самом деле меня здесь очень ждали...

Они сидели у [illegible] на подснежники в стакане с водой. На темном [illegible] цветы действительно выглядели необыкновенно: свежи[illegible] и такие чудесные, словно в оккупированный город попали из другого мира.

— Здрасьте! — [illegible] я произнести как можно громче.

— Это Саша, — сказала Женя немецкому офицеру, — очень интересный человек.

— Интересный человек?! — Такая характеристика, видимо, сильно удивила его. — Как понимать это — «интересный человек»? — Он пытался найти во мне хоть что-то интересное, рассматривая с головы до ног, ничего не находил, и недоумение его все возрастало. — Я мало понимать значение русского слова.

— Саша знает много сказок, — пояснила Женя, насмешливо поглядывая то на меня, то на немца.

— Дох! Есть такое значение «интересно», когда много знать. Ин-те-рес-но! — и он рассмеялся.

Вскоре я поняла, что он не был принцем. Его звали Хайнц Хезэ.

О себе, о своих родных Хезэ рассказывал, держа в руках пачку фотографий. Вначале на обозрение выкладывал фото, на котором был запечатлен усатый строгий мужчина.

— Мой папа, — рассказывал Хайнц, — раньше имел маленький мастерская и много забота. Бедный мастерская — бедный папа. Он уходил от дела, от мама, от дети, пить пиво и ругать порядки. Это помогло ему стать наци. Сейчас папа иметь большая фабрика и мало забота. Он шьет мундир для солдат рейха.

Затем на стол ложится другой портрет.

— Есть моя любимая мама.

Женщина, подперев острый подбородок рукой, смотрела с фотографии, словно спрашивала у всех: неужели правда она любимая мама? Но портрет матери быстро накрывало другое фото, и Хайнц радостно восклицал:

— Здесь я! Мой сёстра — один, два, три!

На большой фотографии запечатлены девушки в одинаковых шляпках. Раскинув «колокольчиком» широкие юбки, они сидели на стриженой траве, а над ними во весь рост возвышался их брат — наследник дома и дела старшего Хезэ.

Хайнц Хезэ никогда не будет воевать, так как на фронте убивают. Он занимается снабжением армии и уже имеет чин лейтенанта. Когда закончится война, звание станет еще выше, он будет и дальше приумножать славу великой Германии и гениальной России. Так решил его папа! Вот только мама... Ах, мама, мама! Взрослого сына она по-прежнему считает малышом и желает, чтоб ее мальчик постоянно находился при ней. Ведь он так неопытен и молод...

Но все это неважно, так как сам Хайнц Хезэ хочет только одного — любить очаровательную фрейлейн Женю Попову. И пусть играет музыка!

На стол выставляется патефон. Блестящая пластинка накрывает его диск, и я замираю от восторга.

Мужчина приглашает женщину с ласковой улыбкой и серьезным лицом. И наверно, каждый бы заметил, как он смотрит на нее и не может наглядеться, говорит, но не может высказать всего, что хотел бы ей сказать. А танцевать он мог бесконечно!

Я научилась плавно крутить ручку патефона и быстро менять пластинку, чтоб как можно дольше смотреть танец, в котором кружит влюбленный Хайнц Хезэ.

— Не-а-поли-тан-ские но-чи! — с трудом читаю по складам.

Хайнц обхватывает Женю, и они вновь танцуют.

И чем больше я смотрю на них, тем больше страдаю оттого, что сама мала ростом, плохо одета, а из-за войны такой, должно быть, останусь навсегда, и меня никто и никогда не пригласит на танец...

Но вдруг Хайнц прерывает танец, снимает китель, ставит новую пластинку.

Щелкают каблуки, быстрая, озорная мелодия подхватывает его, раздувая белоснежную рубаху, как на ветру. Он выкидывает такие забавные коленца, что все смеются: и Женя, и Сережа, и я тоже.

А он, расшалившись, неожиданно хватает меня и Сергея под мыш-ки и кружит, кружит...

Я уверена, во всем мире нет другого такого веселого человека, как Хайнц Хезэ!

«Вот если б все они были такие. Полюбили бабушку, меня, маму, тетю Полю, тогда война бы сразу закончилась».

Однако баба Аня об этом думала по-другому.

— Еще раз пойдешь в тот дом на посиделки, высеку прилюдно, что сидорову козу, — заявляет она, — а то мамке твоей скажу, и тож будешь бита.

Сразу соображаю, что баба моя не шутит: вот какая сердитая. Того и гляди, не дожидаясь другого такого случая, уже сейчас начнет охаживать.

— Ишь, что удумала — весельем себя потешать, будто и не вой-на кругом. — Она долго отчитывает меня. Наконец с каким-то тор жеством предрекает: — Ужо война-то никого не обделит, всем на свой аршин отмерит, до конца дней этой меры хватит.

Терпеливо слушаю бабушку и первый раз не верю ей. Она и ве-дать не ведает, что кроме войны в жизни есть что-то и другое: инте-реснее самой интересной сказки, называется — любовь...

Но однажды замечаю, как немец, прохаживаясь взад-вперед по улице, почему-то не решается даже приблизиться к нашему двору. Прошел мимо раз, другой, повернул в сторону бывшего городского центра.

Июльское солнце вот-вот должно спрятаться за горизонтом, и ко сые лучи его бьют по глазам. Заслонившись рукой от яркого света, смотрю ему вслед: и походка у него какая-то другая — спина согнута, плечи опущены.

Пройдя немного, он снова разворачивается и быстро идет в мою сторону... Мне бы убежать, и чем быстрее, тем лучше, но я не двига-юсь с места. Жду его... все такая же некрасивая, в платье с заплатка-ми и босиком.

— О-оо, Саша! — наконец-то заметил он меня. — Я должен ви-деть Женя... — Все чувства его — на лице, но разобраться в них невоз-можно: их так много — испуг, волнение, решимость. — Ты знаешь о том...

— Ага, знаю, — киваю головой, хотя сама ничего не знаю и даже ничего не понимаю, просто угадываю, что в данный момент, и возмож-но первый раз в жизни, Хайнцу очень трудно, и ему правда нужна помощь.

— Ты знаешь... — от волнения он, видимо, забыл многие русские слова, — мне нужно... Женя была один дома... Саша узнавать о том...

Я бегу к Жене — она дома. Стоит у небольшого зеркала, делает прическу.

— А он пришел! — с порога радостно оповещаю я ее.

Женя медленно поворачивается ко мне. Лицо, с которого убраны все волосы, не просто строгое, а злое.

— Ну и что прикажешь теперь делать?

— А-аа... — только и смогла сказать я в ответ, потому что не ожидала от нее такого странного вопроса.

— Он ничего не хочет понимать, будто только что на свет появился, — она поджимает губы, молчит, но я не ухожу и взглядом молчаливо прошу у нее за Хайнца Хезэ. — Ладно, не слоняться же ему по улице, это тоже плохо, — уже спокойнее говорит она, снимая руки с затылка. Густые волосы падают вниз, ласковыми кудрями рассыпаются по плечам, высокому лбу, щекам. Я узнаю Женю. — Скажи, пусть войдет.

Хезэ мчится вверх по ступенькам, а мне почему-то становится жаль его, да так жалко, хоть плачь.

«Уж лучше бы не ходил он к ней... однажды забудет наклонить голову и от радости расшибет лоб о дверной косяк».

— У-у, швайн! — цедит сквозь зубы Виктор.

Когда он подошел, я и не заметила.

— Ты не видала, сколь ихних сегодня из леса притащили? Еще тепленьких. Штабелями складывали покойничков.

Нет, мне такого не могло присниться даже в самом страшном сне, чтоб теплых покойников складывали друг на друга.

— Коль не веришь, пошли, посмотришь. Их на городской площади в кирпичный дом сгрузили.

Глухое здание, похожее на склад, никем не охраняется, но все-таки закрыто на огромный замок. И Иванову охота найти хоть какую-нибудь щель, чтоб заглянуть внутрь.

— Не надо, Витька, — пытаюсь я отговорить его, — не надо, страшно.

— А чего их мертвых-то бояться?! — храбрится Виктор. — Живые они и правда страшные. Сказывали, эти фрицы хотели наших партизан перебить. В лес направились, а их там дожидались. Встретили что надо!

Мы пробираемся вдоль стены.

— Витька! Гляди!! — не своим голосом шепчу я и закрываю рот обеими руками.

Из щели, между фундаментом и стеной, стекает бурая жидкость, и на земле уже образовалась небольшая лужица. Моя ступня будто пристыла к ней.

— Кровь! А-аа... — хватаюсь за Иванова. Витька что есть силы вырывается и брезгливо отворачивается. — А-аа... яй...

Мы мчимся прочь от ужасного места: Виктор — впереди, я — за ним. Оглядываюсь на бегу; он видит, что я не отстаю, и еще прибавляет шаг.

Бежим так, словно за нами гонится сотня мертвецов.

С ходу плюхаемся в городской пруд. Я оттираю ноги песком и полощу их в воде.

— У-уу, как противно... кровищи-то сколько, — плюется Виктор.

— Все опоганили, ногой ступить негде, всюду они — либо мертвые, либо живые, — повторяю я бабушкины слова.

Лето пролетело быстро. Я полола, поливала грядки, помогала матери заготовлять сено, а когда приходила очередь, пасла коров.

Наступила осень 1942 года.

Гитлеровцы установили на площади репродуктор и каждый день оповещали население о «впечатляющих победах германских войск на решающем участке великого сражения за идеалы фюрера».

— Очень скоро эта битва принесет успех. С красной Россией будет покончено навсегда! — говорил репродуктор. Но почему-то все чаще и чаще такие сообщения стали прерываться из-за налета краснозвездной авиации.

Самолеты, несмотря на заградительный огонь, прорывались к железной дороге или еще каким-либо важным для фашистов объектам и нещадно бомбили их. Пылали, взрываясь, бочки с горючим, горела военная техника, а дорогу на восток так изрыли бомбы, что по ней невозможно уже ни пройти ни проехать. И городу тоже доставалось.

— А главное — впереди, — часто говорила баба Аня.

Но когда это главное придет — никто сказать не мог.

Однажды вечером во двор вошли двое полицаев и объявили:

— Иванов, Краскова, завтра обязаны явиться в школу к девяти часам. — И вручили повестки нашим матерям.

По городу шли слухи: немцы намерены открыть школу для русских ребят, но о том, что нам с Виктором придется в ней учиться, мы узнали впервые.

Ночью я спала плохо, а мама с бабушкой, должно быть, вообще не сомкнули глаз.

— Да что ж они, окаянные, еще придумали? Какую казнь, какой позор? — стонет моя бабка. — Немые черти, ни слова по-нашему сказать не могут, а еще чему-то народ собираются учить.

— Онемечить хотят ребят, — говорит о чем-то непонятном для меня мама. — Думают, что это легко сделать, — она помолчала. — Мы с Полиной тоже пойдем завтра, не оставим одних.

Однако Виктор стал противиться:

— Нечего вам там делать... только мешать будете...

— Ты послушай-ка, Феня! Мы, оказывается, им уже мешать стали! — удивилась тетя Поля словам сына. — Это почему же? Разъясни нам.

— Там, поди-ка, сегодня все партизаны будут взрывать... Я с Шуркой убегу, а вам не поспеть за нами.

— Глупости! — не стерпела и моя мама. — Зачем же партизанам ребят взрывать? Наверно, и они знают, что не по доброй воле...

— Да что мы его слушаем?! — всерьез осерчала Полина Егоровна. — Пошли, Феня! А взорвут, так тому и быть.

Виктор больше не прекословил. Подтянул штаны, застегнул на все пуговицы пиджачишко, надвинул кепку на глаза.

— Я туда за-ради только одного интереса иду, а потом все равно

коров в поле буду гонять. К немцам в ихнюю школу ни за какие пироги ходить не стану, — заявил он и пошлепал впереди всех босиком. Обувь, по его мнению, носить еще не пришла пора.

Под школу было выделено небольшое деревянное здание с ровной площадкой у входа, вымощенной крупным булыжником. Учеников, чуть побольше тридцати человек, построили здесь в одну шеренгу. Виктор стоял где-то впереди, я — почти в самом конце. Моросил мелкий неприятный дождь, но вдоль строя прохаживался солдат, и мы не могли не только сойти с места, но даже пошевелиться. Издали, сбившись в кучу, на нас смотрели наши матери.

Дождь прекратился, словно бы сжалившись над нами, и начались торопливые приготовления к какому-то торжеству. Принесли легкое кресло, стул, скамейку, и все поставили в центре площадки. К длинному шесту прикрепили фашистский флаг.

И вот дверь школы распахнулась. Вначале из нее выбежали панки. На них были коротенькие штанишки, белые рубашки, черные галстуки и черные пилотки. Следом выплыл их приземистый грузный папаша — бургомистр города. За ним в ногу шагали две тощие дамы в строгих костюмах. Панки встали во главе шеренги, выставив далеко вперед носки новых блестящих ботинок. Бургомистр и дамы чинно уселись на скамейку: городской голова — посредине, женщины — по краям. Все смотрели на дорогу: наверно, ждали еще кого-то.

Действительно, вскоре, в сопровождении охраны, подкатила «эмка». Из машины вышли офицер и Женя. Они прошли в центр, а охрана быстро заняла места сзади нашего построения, оцепив площадку со всех сторон.

Не то от радости, не то с перепугу, бургомистр подпрыгнул на месте, как надутый шар, и отрапортовал о чем-то. Офицер пренебрежительно махнул рукой, опустился в кресло. Женя села рядом на стуле. Фашист с железным крестом на груди, закинув ногу на ногу, начал речь.

Восхваляя доблесть и геройство солдат фюрера, он напомнил: с остатками коммунизма скоро будет покончено.

— Новый порядок утвердится до самого Урала! И вы — те немногие, кого Германия просветит, сделает цивилизованными людьми. Вы — первые, кому доверят честно и преданно служить великому рейху, во всем помогать оккупационным властям.

Так говорил гитлеровский офицер, а Женя переводила его слова. И представлялось, будто не он, а она, Евгения Алексеевна, требовала от нас быстрее овладевать немецким языком, беспрекословно выполнять все приказы и поскорее забыть все то, чему учились прежде.

— Ее к нам из Германии Гитлер прислал, — вдруг зашептала рядом девчонка, и я поняла, что она говорит о Жене. — Притворяется, чтоб ей поверили... будто она русская... моя мамка сказала... фашистка.

Это сообщение так поразило меня, что я уже не могла ни слушать внимательно, ни запоминать.

Смотрела на Женю и удивлялась, как же сама не догадалась раньше, кто она такая.

«На машине катается... все по-ихнему понимает... ясное дело — фашистка...»

Хорошо, не успела похвалиться близким знакомством с ней.

Наконец офицер закончил речь, поднялся с кресла, шагнул на длинных костлявых ногах. Женя в тот же миг встала слева от него. Позади встали бургомистр и его дамы. Все двинулись на осмотр нашего построения. Во главе шеренги немец остановился и с близкого расстояния стал рассматривать панков.

— Юбшь! — сказал офицер и положил руку одному из них на плечо. По лицу их папаши все поняли: какое счастье — какое внимание.

Осмотр продолжался. Гитлеровский офицер что-то говорил Жене, показывая на ребят пальцем; она согласно кивала головой и улыбалась. Сейчас приблизится ко мне, узнает соседку и тоже положит руку на плечо.

— У-уу, фашистка, — снова прошипела малышка, не видя никого, кроме Жени.

И мне еще больше хочется, чтоб она все-таки не признала свою знакомую — Сашу Краскову.

И вдруг офицер всем корпусом откинулся назад. Женя нахмурилась. В полной растерянности замерли строгие дамы. Было видно, как быстро бледнеют багровые щеки бургомистра.

— Вас ист дас?!

Ну, конечно же, причиной всему — Витька Иванов! Он единственный, кто пришел в школу босиком. Ноги его от холода покраснели и стали похожи на гусиные лапы.

— Выйди из строя! — перевела Женя.

Иванов сделал несколько шагов вперед.

— Это есть натюрально рушка мюжик, — почему-то заговорил на русском офицер, — он не иметь праф выучить и знать немецкий культура. Это должён работать тяшолой труд, подобно шкот, — фашист махнул рукой. — Вег!

— Комендант города приказывает тебе уйти, — сказала Женя.

Виктор дернулся всем телом, наверно, ему не терпелось поскорее уйти со школьного двора. Но он все-таки сдержал себя и степенным шагом направился к дороге. Проходя мимо, насмешливо глянул в мою сторону. Я подалась за ним, но решительный жест и строгий взгляд Евгении Алексеевны остановил меня.

Обход закончился. Бургомистр подал знак — сыновья подбежали к шесту и под крики солдат подняли фашистский флаг.

Мне и девчонке, стоящей рядом, дамы сунули в руки огромные букеты цветов, похожие на веники, и, подталкивая нас в затылок, подвели к коменданту города. Букеты предназначались для него. Принимая цветы, офицер смотрел на объектив фотоаппарата, широко улыбался.

На этом торжественная часть закончилась. Комендант и Женя сели в машину и уехали.

Я вздохнула с облегчением: за спиной не стояли солдаты с автоматами.

Ребят разделили на две группы, образовав два класса. Учителями оказались женщины, сопровождавшие бургомистра. Нас провели в классные комнаты.

В классе рассадили по одному. Сидеть нужно было затылок в затылок, руки держать на парте, головы не поворачивать, вопросов не задавать, на перемене оставаться на месте, отлучаться куда-либо только с разрешения учительницы, обращаться друг к другу по фамилии, о проступках одноклассников докладывать незамедлительно.

Первые два урока в немецкой школе — уроки немецкого языка. Мы бесконечно долго пытаемся произнести правильно какой-то звук. А прямая костлявая с желтым лицом и широкими желтыми зубами учительница стоит у стола, не выпуская длинной указки из рук.

— Кю-юю-юю, — тяну я уныло, уставившись на черную доску, где написаны немецкие буквы.

«Черти немые, ни одного слова по-русски сказать не могут...»

Учительница тоже смотрит на своих учеников не мигая. Она страшно некрасивая. И уже на первом уроке я начинаю тосковать по бабушке, брату, маме, Виктору...

«Ишь, какой хитрый.. А я не догадалась прийти босиком... Вместе бы ушли, да эта... Попова не пустила...»

Желание поскорее оказаться дома становилось все сильнее. Я повернула голову к двери, и в тот же миг тонкая гибкая указка с силой опустилась на мое плечо. Удар оказался таким неожиданным, что я подпрыгнула.

— Сидеть как положено! — приказывает учительница, ударяя еще раз.

Я оказалась первой, с кого началось систематическое наказание учеников ударами указки.

Но всему приходит конец. Закончился и первый день учебы в немецкой школе.

Учительница поставила нас у парт, потребовала, чтоб мы выпрямились, соединили пятки, развернули носки, подняли подбородки и слушали ее внимательно.

— Если завтра кому-то вздумается не прийти в школу, то его все равно найдут, посадят в карцер и выпорют. А мать за этот проступок несколько дней будет выполнять трудовую повинность.

Домой я всю дорогу бежала. Мне казалось, что я уже никогда не увижу своих близких...

Первым встретился Виктор. На радостях бросилась к нему.

— Витька! Ты знаешь, как там...

Однако сосед не дал мне говорить. Взял за руку, отвел в самое глухое место двора, потребовал:

— Дай честное пионерское, что никому не скажешь!

— Так я ж не пионерка...

— Это пока немцы тут — мы не пионеры. А наши придут — будем пионеры.

Я даю Виктору честное пионерское слово — держать все в секрете, даже если меня поведут на расстрел.

— Язычок на замок, — вспоминаю я приговорку деда Гаврилы.

— Вот именно так, — соглашается Виктор. — А теперь пошли.

Стараясь быть незамеченными, мы пробираемся к дому Жени Поповой. Входим в узкий проход, отделяющий одно строение от другого.

Здесь Витька ложится на живот и заталкивает ноги в небольшую дыру, что образовалась в фундаменте. Пятится задом и исчезает в кромешной темноте.

— Лезь сюда! — раздается голос из-под дома.

Долго не раздумывая, я следую за соседом и будто проваливаюсь в яму.

— Ой! Где я?!

— Тише, не кричи! — полушепотом приказывает Виктор. — Закрой глаза покрепче, а потом открой, сразу станет светлее.

Я так и делаю. И действительно, начинаю различать лаз, из которого сочится слабый свет с улицы. Он освещает небольшое пространство, огороженное со всех сторон камнем, и вверху — настил из толстых широких досок.

— Это ейный коридор, — Виктор так и не решается заговорить в полный голос. — Нам надо туда, где у нее комната. Поняла?

— Ага, поняла, — отвечаю я, хотя на самом деле ничего не понимаю.

— Тут в одном месте есть отверстие, кулак проходит, а голова не пролезает. Надо, чтоб пролезала.

— А зачем, Витька, нам туда пролезать? — наконец-то осмелилась я спросить у соседа, опасаясь его насмешек за несообразительность.

— А затем... — серьезно объясняет Витька, — взрывчатку мы положим под комнатой, а шнур выведем под коридор. Подожгли — и тикать по чердакам. Уйдем, как тот красноармеец. Помнишь?

— Помню, Витька! Помню! — От предстоящих событий у меня захватывает дух.

— Нас и след простыл, а здесь ка-аа-к рванет!.. Ну, поняла теперь?

— Поняла... Только зачем ее взрывать?

— Проучить надо, чтоб перед немцами не выслуживалась, на своих не нападала, — угрюмо заключил Виктор.

Такое заявление мне показалось вполне справедливым.

— Правда, правда, Витька, надо проучить. Она нехорошая стала. Страсть как на фашистку похожа, и говорят, будто ее из самой Германии к нам Гитлер прислал.

— Ты поменьше болтай, а побольше делай.

В полном молчании мы начали выгребать песок из-под одного объемного валуна, из которых был сложен фундамент дома.

Вечером баба Аня долго чистила мое пальто, выбивала пыль из платка, ругая немцев и их школу.

Немецкая школа

С каждым днем, с каждым уроком наша учительница — фрау Гусакова — ненавидела нас все больше и больше.

— Тупицы! Кретины! — кричала она, и с грубыми словами по классу летели брызги слюны. — За месяц не можете выучить алфавита. Да вам немцы не доверят своих свиней пасти, не то что какое-то дело. Вы же форменные идиоты! — После такого наставления раздалась команда: — Андреев, марш к доске!

Белоголовый щуплый пацан с понурым видом выходит вперед, берет мел и, не отрываясь, смотрит на черную доску.

— Ну, что уставился, как баран на новые ворота? Давай, пиши все буквы от «а» до «зэт». — Длинная указка так и прыгает в руке фрау учительницы.

Будто не замечая ее, мальчишка переступает с ноги на ногу, трет тряпкой и без того чистую доску, осторожно прикладывает к ней мел: сначала одним концом, потом — другим. Наконец-то медленно рисует первую букву, похожую на чертика с рожками.

На какое-то время учительница может оставить его без внимания, поворачивается лицом к классу.

— Вы что сидите как истуканы? — обрушивается она на учеников.

Андрееву это только и надо. Пальцами двух рук он растягивает как можно шире рот, высовывая язык, затем бесшумно, но с выражением крайнего презрения плюет в сторону учительницы.

Как-то уж так повелось: выходя к доске, мальчишки, будто соревнуясь друг с другом, каждый на свой манер потешали класс. Фрау Гусакову расстреливали из воображаемого автомата, взрывали гранатами и не просто показывали фигу, а заносили кулак за голову, чтобы левой рукой из-за правого уха продемонстрировать комбинацию из трех пальцев.

Видела бы она это! Но искусство подобного представления как раз и заключалось в том, что учительница ни о чем даже не подозревала. Стоило ей чуть только повести взглядом в сторону доски, как в тот же миг лицо ученика становилось сосредоточенным и несчастным, словно он и в самом деле мучительно вспоминал и никак не мог припомнить следующую букву немецкого алфавита.

Фрау Гусакова медленно идет между рядами, щелкает указкой по левой согнутой руке, которая у нее почему-то никогда не разгибается, а Андреев крутится юлой и строит такие уморительные рожицы — хоть под парту залезай, чтоб не рассмеяться во весь голос. Поэтому я сосредоточенно смотрю в чистый лист бумаги и жду удара указки по рукам, так как не написала еще ни одной буквы.

— Ах ты, гаденыш! — раздается вопль Гусаковой. Роняя указку, она прыгает к доске, хватает Андреева за белые вихры. — Так вот вы чем занимаетесь! Да я тебя!.. — И бьет его головой о доску — один раз, другой...

Мальчишка сопротивляется, отчего фрау Гусакова приходит в еще большую ярость. Слышен глухой стук головы о деревянную доску.

— Овчарка! — неожиданно визгливым голосом кричит с места та самая девчонка, что первый день стояла рядом со мной в шеренге. — Немецкая овчарка!

Фрау Гусакова словно наткнулась на какое-то препятствие — дернулась всем телом и выпустила из рук голову ученика. С удивлением, как будто видела нас первый раз, оглядела класс и, остановив тяжелый взгляд на девчонке, медленно приблизилась к ней.

— А ну-ка, повтори, что ты сказала! — наклонила она голову к ученице.

И та повторила, только очень тихо, глядя в парту:

— Овчарка... немецкая овчарка...

Фрау выпрямилась, и мы впервые увидали, как она улыбается.

— Это надо же... ха-ха... Я овчарка... ха-ха-ха... немецкая...

Мне показалось, что ничего ужаснее, чем это веселье, в нашем классе не было.

— Ха-ха-ха... — но учительница вдруг замолчала, как будто неестественный смех застрял в горле. Шея и щеки ее начали покрываться пятнами бурого цвета. — А вы хоть раз сталкивались с настоящей фашистской овчаркой? Такой овчаркой, что одним ударом лап валит человека на землю и начинает рвать на нем в клочья живое мясо... Вы что же, щенки, знаете именно такую овчарку?

Класс безмолвствовал.

— Так, значит, такой овчарки вы не видали! — торжествует учительница. — Тогда посмотрите! — и она рванула вверх рукав кофты.

В ужасе я крепко зажмурила глаза.

— Нет, уж вы, будьте добры, смотрите! Все смотрите! — грохнула Гусакова обезображенной рукой о мою парту, а потом стала подносить ее каждому к лицу и рассказывать: — Огромная, сильная, как волк, она настигла меня в два-три прыжка, опрокинула, стала грызть, упираясь лапами в грудь... Я закрыла лицо этой рукой, она ухватила ее зубами... И тогда я закричала: «Зо айн ферфлюхтер! Проклятая! Блайб штеен! Остановись!» И овчарка остановилась. — Из глаз учительницы градом покатились слезы. — Понимаете вы это, идиоты, остановилась?! Не рвала на куски, а только вдавливала в землю, тихо рычала... Я до войны в институте училась... стихи писала... мечтала... а потом санитаркой на фронт... помогать. А они меня... Жить захотите, и вы... — Рыдания не позволили ей закончить рассказ.

Плакала долго, вытирая слезы рукавом, наверно, и не предполагая, что когда-нибудь ей потребуется платок, чтоб вытереть мокрое от слез лицо. А мы сидели не двигаясь: затылок в затылок, положив руки на парты... Постепенно она успокоилась. Подняла оброненную указку.

— Краскова, иди к доске.

Я вышла и написала все буквы проклятого немецкого алфавита от «а» до «зэт».

— Та-аа-к... — в раздумье протянула учительница. — Значит, мо-

жете, но не хотите, а я не хочу, но делаю... — И взгляд ее снова стал холодным и злым. — Так зарубите себе на носу, буду бить, пока не выполните то, что прикажу. Вас надо учить жить.

С этого дня для Гусачихи самыми приятными моментами стали те, когда кто-нибудь из учеников не выдерживал наказание, просил прощение на немецком языке с хорошим произношением.

— Энтшульдиген зии, битте, фрау.

В классе появились ябедники, мальчишки начали жестоко избивать друг друга. Но фрау Гусакова все еще была недовольна нами.

Однажды она вошла в класс до звонка и с порога объявила:

— Сегодня вы наконец-то увидите настоящих овчарок и настоящую силу! Думаю, вас это многому научит. — И учительница захлопала в ладоши, будто приглашала всех к веселой новогодней елке. — А ну-ка, быстро на площадку — строиться!

Во дворе из двух классов образовали общую колонну — по трое в ряд.

— Голову держать прямо! — приказывает Гусакова. — Плечи расправить! Не разговаривать! По сторонам не глазеть! И-ии ша-аа-гом марш!

Вначале нас заставили промаршировать у школы, потом вывели на дорогу и повели в сторону центра.

Ночью выпал снег, и все вокруг было бело и чисто. И красиво, очень красиво! На деревьях иней, будто гирлянды развешаны.

«Новый год прошел, а мы и не заметили».

— Драй-фир, айнц-цвай! — командовала Гусачиха, чтоб никто не сбился со строевого шага.

Мы идем, оставляя следы на белоснежной дороге, по которой в тот ранний час никто не успел ни пройти, ни проехать.

— Раз, два, три!

Однако чем ближе к центру, тем становилось все многолюднее. Появились мирные жители, солдаты и свирепые сильные овчарки, которые гнали людей со всех сторон. Толпа росла.

А мы — ученики немецкой школы — сами идем в центр; некоторое время топчемся на месте и останавливаемся по команде у деревянного помоста.

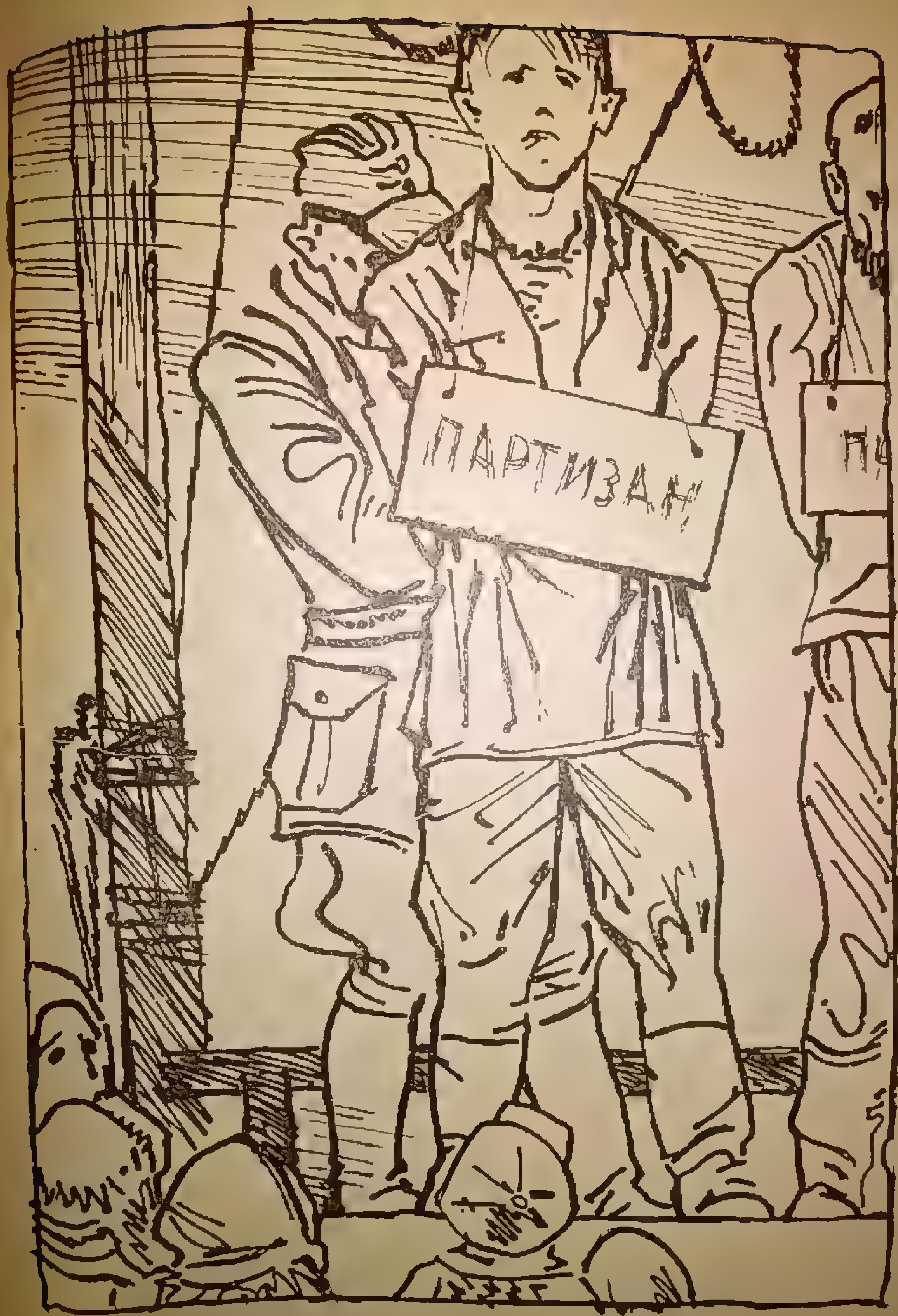
Я огляделась. Совсем близко — группа гитлеровцев в черных шинелях с белыми черепами на фуражках. Кто не знает в оккупации, что это символ смерти? Опасаясь долго смотреть в их сторону, перевожу взгляд на странное сооружение из досок, над которым возвышаются два столба с перекладиной. С поперечного бруса свисают три веревки с петлями на концах, похожие на огромного размера серые баранки.

«И что это здесь будет?» — гадаю я.

Все школьники смотрят на помост, как будто это сцена и на ней вот-вот должно начаться представление.

Они появились с противоположной стороны: один за другим. Руки сзади — связаны, одежда — изорвана. У каждого на груди — доска с надписью.

— Пар-ти-зан... партизан... партизан...


ПАРТИЗАН

Люди, о которых в нашем городе можно говорить только шепотом, — рядом, всего в нескольких шагах, на возвышении, чтоб каждому издалека были видны!

Партизан заставили встать на скамейку, и петли опустились вровень с их лицами.

— Эти люди есть бандиты, — выступает вперед гитлеровец в черном. — Они взрывали важные военные объекты. За действия, направленные против фюрера и его армии...

Я слушаю задрав голову. Но что это?! Партизан смотрит прямо мне в глаза. Хочет что-то сказать? Я подаюсь немного вперед.

— Товарищи! — голос с высоты зазвучал звонко, сильно, молодо. — Бейте фашистских гадов! Кровь за кровь! Смерть за смерть!

— О-ох, — вздохнула одним вздохом толпа на площади.

— Ждите! Наши приду-уу...

Скамейку выбили из-под ног. Но люди не попадали на помост, они повисли на веревках, и петли все сильнее затягивали их шеи.

Стало так тихо, словно все вдруг онемели.

— И-ии-ии!.. — вдруг раздался в этой глухой мертвой тишине такой страшный вопль, что я тут же сорвалась с места и ринулась куда-то в сторону. Но поскользнулась, упала.

— Хальт! — Сильным рывком фрау Гусакова поставила меня на ноги и крепко ухватилась за плечо.

Не раздумывая, я впиваюсь зубами в руку, которую ей когда-то не успела изгрызть овчарка.

— И-ии... — все усиливается и без того дикий бабий вой.

Натыкаясь на ноги, на четвереньках пытаюсь убраться как можно дальше от жуткой виселицы, от фрау Гусаковой, фашистов с белыми черепами.

— Не дамся! Теперь я им не дамся! — повторяю я, заползая в середину толпы.

Под сильными ударами затрещали доски.

— Помост ломают...

— Чтоб висели долго для устрашения...

Ни свирепый лай собак, ни автоматные очереди — никто и ничто не может остановить людей, они бегут от смерти, и мне никак не поспеть за ними.

— Не дамся! — Но подняться с земли уже нет никаких сил. Сижу на грязном, истоптанном сотнями ног снегу, у края городской площади. А в отдалении, на высокой перекладине, тихо покачиваются три человеческие фигуры. Я не верю, что они уже мертвы.

«Если бы им взлететь еще выше... в самое небо... — Слезы закрывают все густой серой пеленой. — Выше неба...»

Прибежал Виктор, подхватил под руки.

— Ты живая?!

— Живая...

— Тогда тикаем отседова! — Он попытался взвалить меня на плечи. — Они же, гады, растопчут сапожищами! Это же даже не фрицы... это ж каратели... Эсэс...

Дома, несмотря на то что день был в полном разгаре, меня положили на кровать. Мать прощупала все кости, осмотрела тело.

— Переломов нет. Ушибы только, да они заживут. Тебе больно?

— Не-а...

Бабушка, стоя в изголовье, вздохнула.

Под потолком кружится мой соломенный шар. Краски его поблекли, и теперь он уже не такой яркий и красивый, как прежде. Я смотрю на него и думаю, смотрю и думаю...

— Баба, — начала я, как только мать отправилась за водой к колонке, — вы меня в школу больше не посылайте, все равно не пойду.

— А как же мамка? — встревожилась бабушка. — И не жалко тебе ее? Ведь накажут, может, и изобьют до смерти.

— А ты, бабусь, за меня сама иди... — с трудом поворачивается мой язык, — чтоб мамку не трогали... ты иди, бабусь.

Наверно, подобное предложение было так неожиданно, что первонаперво баба Аня перекрестилась, потом сказала сердито:

— А ты что ж, сумлеваешься, не сделаю я этого? — И твердо пообещала: — Сделаю!

Бабушка еще какое-то время постояла рядом и пошла хлопотать по хозяйству.

Я смотрю на шар, пытаясь во что бы то ни стало вспомнить сказку, что когда-то рассказывала Женя.

«Волшебный шар-фонарь... Вот придет настоящий, живой принц с лучистыми глазами, и он вспыхнет ярким чудным светом. От этого света все убийцы побегут прочь, а счастливые люди выйдут на гулянье и будут танцевать и днем и ночью прекрасный танец...» Надо бы эту сказку Ивашке рассказать: вот уж он обрадуется — сказка в доме под потолком повисла!..

Эти мысли будто согрели меня, стало легче дышать, я заснула.

На следующее утро никто даже не напомнил о школе. Однако все равно мерещилось, как в дом вваливается желтая от злости Гусачиха и все показывает покусанную мной руку. Или, еще хуже, врываются каратели и уводят с собой бабушку, чтоб жестоко наказать ее за то, что я не явилась на учебу. И, воображая это, я сжимаюсь в комок от озноба на теплой печке.

Но после полудня пришел Виктор и с таинственным видом, потихоньку, чтоб никто не услыхал, стал уговаривать выйти во двор.

— Сейчас ты увидишь «вас ист дас», — насмешничает он.

Незаметно, уже который раз, мы проникаем под коридор Жениного дома. В том месте, где делали подкоп, в верхней части фундамента образовалась дыра.

— Подрыли, а камень-то тяжелый, он осел. Сверху выколупал камешки поменьше. Пролезаю запросто. — И Виктор нырнул в отверстие. — А ну, давай сюда!

Я нехотя подчиняюсь.

— Только тихо, — предупреждает он, — тут все слыхать, что в доме творится.

Действительно, я очень хорошо слышу, как наверху расхаживает

Сережа. Наверно, он дома один, но ему все равно весело, и мальчишка во весь голос поет песню, которую мы пели до войны: «Три танкиста, три веселых друга — экипаж машины боевой...»

«Надо ж, какую песню помнит!» Мне хочется не под полом сидеть, а зайти в дом, поиграть с Сережей, поговорить с Женей. Она ведь совсем не такая, как Гусачиха, — это я знаю точно. Я вообще все знаю о ней, знаю даже то, о чем никто и не догадывается... Но об этом нельзя никому рассказывать, даже бабе Ане. Только проговорись — сразу на площадь уведут и будут казнить.

«Казнить?!» — По всему телу поползли тяжелые холодные мурашки.

Виктор, обследовав все закоулки, лезет наружу, подталкивая меня вперед.

— Несколько патронов у меня уже есть, — делится он своими мыслями, — к ним бы мину какую-нибудь. Вот рванет так рванет!

Я почему-то совсем не разделяю восторга моего соседа.

— А как же Сережа?

— А-аа, Сережа, — машет рукой Витька, — пускай не водится с такими...

— А он и не водится вовсе. У него папу бомбой убило, — вспоминаю я то, чему когда-то не придала никакого значения, — он забоялся остаться один...

Но Виктор даже не захотел выслушать меня до конца.

— Ты что, струсила? — ухватился он за борт моего пальто. — Может, поплачешь теперь, что и твоего папу бомбой убило? — и Иванов рассмеялся своей недоброй шутке.

— Пусти, дурак! — рванулась я из цепких рук соседа, и изрядно поношенная ткань моего пальто затрещала.

Витька сам с силой оттолнул меня, я упала в снег, над моим лицом навис крепкий костлявый кулак.

— Только посмей кому-нибудь сказать про мое дело... я тебя... — Однако драться не стал, сплюнул и пошел прочь.

— Был у него папка, боевой мужик... — кричу я вслед Виктору, но он не оглянулся. Иванов не поверил мне.

Несколько дней я не вспоминала о школе. А вскоре ее вообще закрыли: время пришло другое и у фашистов не стало ни желания, ни возможностей прививать нам свою культуру.

Разбитый горшок

В феврале в нашем городе скопилось столько немецких солдат и военной техники, что даже улицы казались теснее и уже. На всех главных зданиях появились траурные флаги.

Стало известно: на фронте фашисты потерпели невиданное поражение.

— Силы небесные, — широко и торжественно перекрестилась бабушка, — неужто и на сей раз выдюжили?!

— Все выдержали! — радостно говорит Полина Егоровна. — Сама читала листовку: под Сталинградом ихняя армия целиком в плен сдалась. Потому-то с ними и такая печаль приключилась. Да вы в окно поглядите, — показывает она на мерзлое стекло, — вон, что мухи полудохлые ползают.

И действительно, я вижу, немецкий солдат, прикрыв уши тонким, совсем не теплым шарфом, неуклюже передвигается по глубокому снегу в соломенных утеплителях, ветер срывает с крыш снег и швыряет ему в спину.

— Ан не скажи, соседка, — покачивает головой баба Аня, — раненый зверь завсегда свирепей. Сколь еще горя хлебнем, и никто не ведает, дождемся ли своих.

Мне не нравятся бабушкины слова: я хочу обязательно дождаться отца. Хотя только сейчас начала понимать, что солдатский эшелон, из которого он весело махал нам, один-единственный в то лето 1941 года уходил навстречу врагу, и больше таких не было. Да и кажется, произошло это очень давно, так давно, что отцовское лицо стало уже забываться. Поэтому и по ночам мне снится кто-то другой: называет — «дочка», и оттого, что это вовсе не мой папа, я просыпаюсь.

В одну из ночей, помню, меня разбудил именно такой сон. Спросонья оглядела большую комнату, освещенную тусклым светом луны, и обнаружила: опять бабушка не спит, опять словно пристыла к окну.

Сколько же у нее было в оккупации таких бессонных ночей? Трудно сказать. Знаю только, что спалось ей всегда очень плохо.

Я тоже спустилась с печки вниз, встала рядом, тоже начала всматриваться в полумрак...

Словно черное пятно, от длинной тени нежилого строения отделяется черная фигура, быстро передвигается к Жениному дому, поднимается по ступенькам и скрывается за дверью.

— Энто уже третий будет, — тихо говорит бабушка, — сначала двое ворьем прокрались, а теперь еще один.

— А зачем, бабусь?

— Кто же ее знает...

Я подождала, не появится ли еще кто-нибудь, так и не дождавшись, позевывая, снова залезла на печку. Однако баба Аня еще долго не покидала своего поста и только под утро поднялась ко мне, легла рядом. Поворочалась с боку на бок, повздыхала и села, упираясь головой в потолок.

— И что ты мне спать не даешь? — спрашиваю ее.

Она не ответила, а повела разговор как будто сама с собой.

— Трое вошли, а обратно — никого. Знать, все у Евгеньи, а что делают? — поговорила и снова к окну, как будто на спешную работу.

Сон ранним утром особенно бывает крепкий: я уснула, забыв и о ночном происшествии, и о бабушкиных волнениях.

Однако бабушка ни о чем не забыла, в обед она ни с того ни с сего вытащила глиняный горшок с топленым молоком из печки и,

намереваясь оставить нас без ужина, велела отнести его Евгении Алексеевне.

— Посмотри, что там у нее за гости, о чем говорят. При тебе-то они не засмущаются, подумают, мала еще, ничего не понимаешь. А ежели Евгенья о чем попросит, хорошо запомни. — Лицо у бабушки явно встревожено.

— Напрасно ты все это затеваешь, — спокойно говорит рассудительная мама. — Ничего там не случилось и не могло случиться.

— А я так думаю, что случилось! — почему-то сердится бабушка, и опять о своем: — Ведь трое вошли к ней, а ни один не вышел.

— Может, не заметила, просмотрела?

— Она и сама нынче из дома не выходила. Я-то точно знаю, когда ей в комендатуру на работу идти. Дожидалась того часа, ан так и не дождалась. Видно, чтой-то у нее неладно.

— И все ты что-нибудь придумаешь, — мать снисходительно улыбается, глядя на бабушкину суету. — То она не дочка Поповых, то их. Я, например, уверена, что она настоящая дочь настоящих родителей. Немцам хорошо служит. Они к ней постоянно с подарками захаживают, а ты ей готова последний жбан молока отдать.

Видимо, такие доводы кажутся бабе Ане убедительными, и она в полной растерянности кружит у стола, на котором — теплый горшок с душистым молоком: нести или нет?..

Подумала и решила:

— Ты, Шура, скажи ей, что баба молоко в долг дает. Стал быть, рассчитаться надоби либо сразу, либо потом.

— Так сама и иди, благо предлог нашелся, — смеется мама.

Но бабушка выразительно махнула рукой:

— Никто к ней не ходит, а я чего пойду?

Мне же, наоборот, не терпится поскорее отправиться к Жене. Я только на минуточку представлю, как там играет патефон и как она танцует с Хайнцем Хезэ, — в моих ушах сразу начинает звучать прекрасная мелодия, которая велит, чтоб я была красивой и очень вежливой. И вот я уже иду прямо, гордо, почти как Женя...

Но когда обеими руками держишь горшок, да еще прижимаешь его к груди, чтоб не расплескать молоко, невольно в дверь приходится стучать ногой. Я колочу: вначале тихо, потом все громче и громче.

Через некоторое время дверь распахнулась, словно бы сама собой, широко и плавно. Я сразу увидала Женю. Она сидела прислонившись к стенке и не двигалась.

— Вот прислала баба, — протягиваю ей горшок. Но Женя не встает с места, как будто серый платок так жестко спеленал ее, что она не может сделать ни одного движения.

Горшок переняла чья-то другая рука. Она протянулась к нему сзади, через мое плечо, и ухватилась за верхний ободок длинными цепкими пальцами.

Я в растерянности оглянулась: позади — двое в черных мундирах, с повязками на рукавах, на которых изображен фашистский знак...

Меня раздели так быстро, что я не успела испугаться. Сняли



пальто, развязали платок, приподняли и стряхнули с ног бурочки. На мне осталось только платье.

Дольше всего они рассматривали мое пальто: шарили по карманам, выворачивали подкладку, прощупывали воротник и, проделав это, бросили его на пол. Платок, обувь — все побывало в руках, затянутых в черные перчатки, а затем с брезгливостью отбрасывалось прочь, как непригодное. Но самым страшным показалось то, что та желая огромная ладонь дважды проползла по моей груди и спине, словно намеревалась пересчитать все ребра.

Я не вижу Женю: она будто уплыла куда-то вместе со стенкой, но слышу ее голос — отдаленный и глухой. Она что-то говорит по-немецки, повторяя несколько раз знакомое слово — «мильх».

И тогда двое в форме эсэс, оставив меня, взялись за горшок; поставили его на стол, постучали по стенкам, прислушиваясь к звуку, потом поднесли его к рукомойнику и стали сливать в него молоко. Бесценная жидкость текла и текла.

Женя была все так же неподвижна и мало похожа на прежнюю Женю — с гладкой прической, бледными впалыми щеками и как будто неживая... И я наконец-то поняла: здесь произошло что-то страшное. Мне хочется бежать отсюда, бежать как можно скорее, не одеваясь, в чем есть...

Но вдруг голова Жени качнулась сначала в одну сторону, чуть заметно — в другую: она не велит делать этого, а ее необычайно большие глаза предупреждают еще о чем-то более опасном...

Из-за дощатой перегородки, разделяющей домик на две половины, вышел третий эсэсовец, встал рядом с Женей и, будто невзначай, наступил ей на ногу блестящим черным сапогом.

«Это же не люди... сапожищами нас раздавят...»

— У тебя много молока? — спрашивает он меня на чистом русском языке.

— Не-ее, мало... — с трудом отвечаю я. Мне больно видеть, как маленькую ногу Жени все сильнее вдавливают в дощатый пол.

— Тогда почему ты принесла его сюда?

— Баба велела.

— О-оо, это хорошо! — Эсэсовец отошел от Жени и навис надо мной, закрыв собою весь белый свет. — А кто есть «баба»? — его пальцы больно впиваются в мое плечо.

— Наша баба... Аня. Моя бабушка, она сказала: «Неси молоко...»

— Почему баба не пришла сама?

Об этом при Евгении Алексеевне мне говорить неудобно, и я молчу.

— Говори! — он так сильно сжимает плечо, что нестерпимо болит уже вся рука.

— Баба не любит Женю..

— Не любит ее, — немец показывает на Евгению пальцем, — но почему прислала ей молоко? Зачем она это сделала?

— В долг прислала... сказала, чтоб рассчиталась либо сразу, либо потом.

— ...либо сразу, либо потом, — повторяет эсэсовец. — А что баба Аня хотела взять за молоко?

Я не знаю, чем Евгения Алексеевна теперь бы отблагодарила нас, вспомнила, как однажды мы с бабушкой принесли ей этот же горшок с молоком, и она посадила нас за стол пить чай с сахаром.

— Не нужно долго думать, отвечать быстро!

— Чай с сахаром... — от боли хочется заплакать, и я добавляю, чтоб больше ни о чем не спрашивали: — Деньги тоже.

Пальцы разжимаются, я плюхаюсь на пол: боль в плече переходит в озноб. Пытаюсь собрать свои вещи, разбросанные по всей комнате, но для меня они стали тяжелыми и неудобными. Долго путаюсь в платке и только сидя, с трудом, натягиваю на ноги бурки. Подбираю пальто, но надеть его никак не могу: оказалось, рукава вывернуты наизнанку.

«Да уйду ль я когда-нибудь отсюда?! — мелькает мысль, от которой становится страшно.

И вдруг лицо Сережи: заплаканное и белое как мел, оно выглянуло из-за угла печки и тут же скрылось, без единого шороха и звука.

«Силы небесные, да они и мальца заарестовали!» — подумала я бабушкиными словами.

А вокруг — только черные сапоги — живая непреодолимая для меня ограда.

— А теперь ты должна рассказать, — требует все тот же эсэсовец, — кто к ней ходит? — и он опять показывает пальцем на Женю. — Кто больше всего... любит ее?

Я молчу и, кажется, никогда на такой вопрос отвечать не стану.

— Ну! — носок черного сапога тянется к моему подбородку и резко поднимает голову вверх. Я никак не могу освободиться от холодного, пахнущего гуталином сапога.

— Хайнц Хезэ... он любит больше всего.

В животе у эсэсовца что-то звучно булькнуло: он рассмеялся. А после короткой немецкой фразы раздался общий гогот. Откуда-то появилась бутылка. Передавая ее друг другу, фашисты делали маленькие глотки, словно для того, чтобы прополоскать рот и горло. В комнате сильно запахло вином.

Не знаю, чем бы закончился тогда мой приход в дом, где находилась засада гестапо, если бы не Женя.

— Видишь, Саша, сегодня у меня в гостях новые друзья, — вдруг заговорила она очень весело, — они развлекаются, шутят.

Все трое сразу перестали смеяться, вслушиваясь в каждое ее слово.

— Мы сегодня гуляем. А ты иди домой, тебе здесь нечего делать. Ты маленькая и ничего не понимаешь, — Женя улыбается мне. — За молоко спасибо. Скажешь, денег нет, долг вернуть не могу. Поняла? — И она повторила как-то особенно четко: — Денег нет, долг вернуть не могу.

После ее слов я почувствовала, что могу все-таки двигаться: ведь все не так страшно, как показалось вначале. Друзья... Шутят...

Надела пальто, не забыла забрать со стола пустой горшок, и никто не помешал мне.

Я уже у порога и рада бы переступить его, но почему-то мешкаю.

— А Сережа пойдет на улицу?

— Нет, он болен, — уже устало и печально говорит Женя, — у него температура, ему нельзя выходить из дома.

И вдруг!..

— Прощай, Саша! Прощай!

«А почему «прощай»?!» — хочу спросить у Жени, но рука эсэсовца опустилась на ее плечо, и я понимаю, что теперь ни на один мой вопрос ответа не будет.

Не помню, как оказалась за дверью, на воздухе, и здесь вдруг почувствовала, что не могу сделать и шага. Нет, это был не страх, а что-то совсем другое — растерянность, бессилие, отчаяние.

Присела на ступеньку и в тот же миг слетела сверху вниз: упала, не почувствовав ни боли, ни ушибов, даже не разбив глиняного горшка. Глянула на высокое крыльцо — никого, только дверь чуть-чуть приоткрыта, а за ней — еле заметно колышется черная фигура. Догадываюсь, эсэсовцам нужно, чтобы я поскорее ушла от этого места, и кто-то из них скинул меня в снег одним пинком ноги.

«Вражина проклятый...»

Вылезла из сугроба, но домой не иду, будто стремясь сначала избавиться от нацеленного, как дуло ружья, взгляда, который чувствуется на любом расстоянии.

Вначале перехожу с одной узкой извилистой тропки на другую, потом направляюсь к забору.

Виктор появился неожиданно, словно вынырнул из-под снега. Шапка чудом держится на затылке, пальто — нараспашку. Размахивая бутылкой, он не дает мне пройти.

— Во что нашел! Еле ушел... шнапс... Шнапс гуд! Шурка гуд! Хи... хи-хи-хи-ин... — Сосед попытался взять меня за руку, но я уворачиваюсь и вдруг улавливаю сильный запах спиртного, похожий на тот, что был в доме у Жени.

— Ах ты, гад!

Горшок будто сам взвился над его головой и с такой силой треснул Витьку по лбу, что в один миг разлетелся на мелкие кусочки. Остался черепок, крепко зажатый в моем кулаке.

Витька отпрянул назад. Кровь, хлынувшая из раны, стала заливать глаза. Все еще не понимая, что случилось, он провел ладонью по лбу, в ужасе глянул на нее и заорал истошным голосом:

— Мам-ка-аа! Она убила меня! Мам-аа...

Полина Егоровна выбежала из дома в платье, с непокрытой головой, бросилась к сыну.

— Хулиганка! Бандитка с большой дороги! — закричала она на всю улицу. — Андреевна! Выйди погляди, что твоя девка с моим маль-

дом сотворила. — Одной рукой она держит Виктора, другой ухватила меня. — Я этого так не оставлю!

На шум стали сбегаться соседки, останавливаться прохожие.

— Мать честная! — услыхала я басовитый голос деда Гаврилы. — Энто как же называется? Бей своих, чтоб чужие боялись!

— Я ей покажу — бить своих. — Полина Егоровна никак не может успокоиться. — Изуродовала парня — на всю жизнь шрам. — Андреевна-аа! Глянь-ка...

— Да не кричи ты, христа ради! — выступила вперед бабушка. — Шуму-то что наделала, людей бы постеснялась. В уме ль ты, Полина, среди своих обиду ищешь, — укоризненно качает головой бабушка. — Да и твой малец хорош, — и она показывает клюкой на Виктора, — аль не видишь, какой он отравы наглотался?

Полина Егоровна притянула к себе сына, принюхалась и с брезгливостью ткнула его носом в снег.

— Ой, ей-ей... — завизжал Витька.

Женщины рассмеялись.

— А ты, Александра, не смей на глаза показываться, — грозит баба Аня, — а то так спрошу за все твои проделки, что не взрадуешься.

— Безотцовщина, — смотрят на нас собравшиеся в круг люди, — вот и расти их теперь как знаешь.

Виктора мать потащила домой, а я все так же стою на тропинке

— А ну-тка, бабы, расступись! Иль невдомек вам, что девчушка совсем смерзла? — Дед Гаврила оставил тележку, подошел ко мне, наклонился, чтоб поднять. — Ну что, дочка, — ласково загудел он на ухо, — знать, несладко жить? Ты мне расскажи потихоньку, где была и что видала.

И вдруг меня словно горячей водой окатило — вспомнила! Вспомнила и как Гаврила Прохорович вез нас в оккупированный город, и как потом говорил с Женей, а я слушала их... Слушала их большую тайну.

Огляделась: бабы, не обращая на меня внимания, уже толкуют о чем-то своем и от страшного Жениного дома далеко.

— Дед, Женю взяли! — Я не вижу лица деда Гаврилы, зато чувствую, как дрогнули и ослабели руки, что держат меня под мышки.

— Тише, дочка, — шепчет Гаврила Прохорович, — подумай хорошо, не напутала ли ты чего-нибудь?

— Не-ее, дед, не напутала, она же просила... велела передать, — спешу я сообщить то, что необходимо сообщить только ему — Гавриле Прохоровичу: «Денег нет, долг вернуть не могу». Два раза так сказала.

— Понял. А ты, дочка, молчи обо всем, что слышала и видела. Теперь молчок! Это приказ! — Дед поставил меня на ноги, снял треух, и, словно после тяжелой работы, вытер им крупные капли пота. — Однако ж, бабы, — громко забасил он, — и забавился я тут с вами! — И бочком, потихоньку подталкивая меня в затылок, подался в сторону. — Уходить надо!

Но не успели мы сделать и несколько шагов, как появился Карев с двумя полицаями.

— Это что за базар?! — начали они расталкивать женщин, пихая их прикладами в спины. — А ну, марш отсюда! Живо!

— А-аа, и ты тут, лунь болотный? — идет Карев грудью на Гаврилу Прохоровича. — Я ж приказал тебе не вылезать из своей норы пока не сдохнешь там. — Дуло винтовки запуталось в белой бороде деда. — Может, ты тут интересуешься чем? Может, дела у тебя тут особые?

— Дела, господин старший полицай, чиню, подшиваю... — отступает Гаврила Прохорович к своей тележке.

Но полицай опережает деда и, ухватившись за коляску, опрокидывает ее — на снег посыпались куски войлока, мотки дратвы, сапожный инструмент, старые валенки.

— Сейчас я задам тебе работенку, до конца дней твоих хватит! — Карев приподнимает двухколесную поделку и с размаху бьет ее о столб. Старая, ветхая, она разваливается на щепки.

Полицаи хохочут, а все бегут прочь. Прикрыв меня полой, бабушка тоже спешит в избу. Через считанные секунды двор опустел. Только Карев с подручными продолжает шнырять между домами, заглядывая во все закоулки.

[illegible]

Приказ молчать я нарушать не собиралась. Сидела на табуретке и молчала, а баба Аня ходила вокруг, грозила клюкой и все допытывалась: навестила ли я Евгению Алексеевну? Предполагая самое худшее: молоко разлито по дороге, а я так и не побывала там, куда меня посылали, — бабушка гневалась все сильнее, однако, наверно, понимала, что сейчас меня лучше не трогать.

Я все время думала о происшедшем.

Жалко, что взрослые так мало рассказывают о себе, вообще ничего не говорят, а поэтому о многом приходится додумываться самой.

Евгения Алексеевна попала в руки врагов, и Гаврила Прохорович убегал не от Карева, а от той смертельной опасности, которая притаилась в нашем дворе.

И вот мне уже чудится, что к нашим домам подъезжает крытая брезентом машина, останавливается и к ней ведут Женю с Сергеем...

Срываюсь с места, выбегаю в коридор, потом на крыльцо. Никого... Даже Карев с полицаями ушли. Совершенно безлюдно, а оттого, кажется, еще опаснее.

Надо и мне быть поосторожнее и никому из врагов на глаза не попадаться. Я вхожу в сенцы, потихоньку прикрываю дверь, оставляя узкую щелку, и незаметно наблюдаю за Жениным домом.

Смотрю долго, но там по-прежнему все так же обманчиво тихо. Ждут. Кого-то ждут. Может быть, деда Гаврилу? Но его-то им как раз и не дождаться. Ушел дед, и это Женя сумела предупредить его об опасности.

«Женя, Саша... у нас имена мальчишечьи, и мы будем такие же храбрые, как они...» — Одно воспоминание цеплялось за другое — самые добрые воспоминания.

Из дома вышла мать, погромыхивая ведром, посмотрела на меня и рассмеялась:

— Что, напроказничала, а теперь и на улицу нос боишься высунуть?

Я ничего не ответила.

— Шла бы лучше в избу, а то совсем замерзнешь здесь.

Мама ушла в сарай к буренке, а я все жду зловещую машину, мне становится все страшнее.

«А если это не сейчас случится, а ночью, когда все будут спать?»

Люди говорили, что многих фашисты арестовали и увезли именно ночью, перед рассветом.

То ли от таких мыслей, то ли действительно от холода, меня начинает бить озноб. Дрожа, я заскакиваю в избу и, не снимая пальто, залезаю на печку, чтоб немного согреться. Ложусь на самую середину, на горячие кирпичики... И тот же миг скатываюсь вниз, чтоб снова оглядеть двор из окошка.

Вернулась мама, радостно удивляется:

— Ну и корова у нас! По времени вроде бы должна перерыв сделать, а она все молоко дает, и утром и вечером. Вот и сейчас литра три надоила.

— И добре, — бабушка забирает у матери подойник. — Животина и та умней некоторых, — все еще сердится она на меня, — вона как старается, чтоб семья сыта была, — корит она, не подозревая, что случилось на самом деле.

Но надо молчать — это приказ. Только в самую трудную минуту приказывает дед Гаврила и, если ослушаешься, нахмурится, будто потемнеет, скажет сурово: «Ты мне не товарищ». Уж было такое один раз...

— Шура, Александра! — это меня в два голоса зовут ужинать.

Подсаживаюсь к столу, слушаю, о чем говорят взрослые.

— И Полина видала, что к Поповой непонятный гость припожаловал, — говорит бабушка.

— Она только видала, как кто-то уходил от нее, — поправляет ее мама.

— Хоть и шестой десяток у меня на исходе, а глаза добрые, не жалуюсь. А чтоб ктой-то из дома выходил — не приметила, — снова упрямо возражает баба Аня.

— Да что нам попусту спорить, — отмахивается мама, — пришли, ушли, нам-то что за дело.

«Как же ушли.. Там они... Издеваются: сапогами топчут, руки выламывают... А я ушла...» «Она ничего не понимает», сказала им Женя. И они поверили ей, отпустили меня. Я судорожно перевожу дыхание.

— А ты, Шура, что сидишь нахохлившись? Пальто не снимаешь? Не заболела ли? — спрашивает мама.

Но и на эти вопросы можно не отвечать. Перекусив немного, снова сажусь к окошку. Почему-то и мама подходит ко мне, встает рядом.

— Опять метель начинает кружить, можно спать ложиться, не прилетят наши и бомбить не будут.

— Не будут, — отзывается бабушка, убирая ложки и миски со стола.

«А хорошо, если бы прилетели да ударили как надо!»

Так ударили, чтоб дом рассыпался по бревнышку. Эсэсовцы на землю попадали, а Женя с Сережей бегом, подальше от них...

— Ой, вьюга, ой вьюга, — тихо печалится мама, гладя меня по голове, — не видать милого друга, отца твоего любимого.

И правда, вьюжит: ветер все беспокойнее и беспокойнее мечется по земле, старые следы прячет, чтоб потом новые лучше были видны. Утром глянешь, а у Жениного дома все отметины на виду.

Однако почему же Хайнц Хеээ не идет? Эсэсовцы расспрашивали о нем, знают, что он будет защищать «лииб фрейлен» Женю Попову. Прибежит, распахнет дверь, крикнет во весь голос: «Не сметь!» А они... рассмеются. Нет, не испугаются эсэсовцы Хайнца Хеээ, и никого они тут не боятся, никто им тут не страшен, кроме... меня, потому что я одна знаю, как можно помочь Жене.

«Точно, знаю!» Какое-то время, оглушенная собственной мыслью я бегаю по кругу — из одного угла избы в другой. И наконец соображаю, что нужно спешить, нужно быстрее оказаться на улице, чтоб не пропустить что-нибудь очень важное.

Чтоб меня ни о чем не расспрашивали, я делаю вид, что устраиваюсь на ночлег у печки, потом потихоньку выскальзываю за дверь. Прыгаю с крыльца, пробираюсь вдоль стены за угол дома. Между избами снег особенно глубок, но у самого фундамента чуть только припорошено, и отсюда, стоя во весь рост, можно оглядеться. Вокруг все так же тихо.

Мне хочется быть быстрой, я тороплю сама себя, да ничего из этого не получается: страх заставляет быть очень осторожной. Я то привстану, то опять присяду, не в силах сдвинуться с того места, откуда, кажется, ты видишь все, а тебя никто и никогда не обнаружит.

«Сейчас я... сейчас...»

Я уже собралась идти к пожарной лестнице, но в просвете двух стенок вдруг поднимается кто-то, похожий на огромного зверя. Присмотрелась, мужик почти рядом, прошел, должно быть, задворками и теперь закуривает, прикрывая широкими ладонями огонь от ветра.

«Карев!» От неожиданности я села в снег.

Вот сейчас он сделает три-четыре шага и схватит меня, как кот воробья. С трудом удерживаюсь, чтоб не побежать, надеясь только на преграду из высокого сугроба.

И действительно, дальше полицай не пошел. Негромко свистнул раз, другой: подошли еще двое. Они тоже закурили, пряча папироски в рукава.

— А теперь слушай сюда, — тихо говорит Карев, а ветер подхва

тывает его слова и относит в мою сторону.— Господа эсэс засаду с этого объекта снимают. Скоро уйдут.— Он помолчал, затягиваясь дымом.— Понятно каждой собаке, что не одна она тут орудовала, но хитрые, сволочи, не идут они сюда.

— А чего им тут делать? — раздался сдержанный смешок.— И я бы не пошел.

— Да, ты б не пошел, дерьмо собачье,— повысил Карев голос,— потому как знаешь, что все должно подлежать проверке. А завтра этой девке приказано утром в девять нуль-нуль выйти из хаты и отправиться в комендатуру.

— А нам чего ж, за ней на пузе ползти?

— Ты что щеришься? Да я тебя...— послышалась жуткая брань.— И поползешь, если надо будет, а упустишь ее — пулю в лоб — и поминай как звали. Понял?

Кто-то из полицаев удивленно присвистнул:

— Вот так баба!

— Закрой хайло! Эта баба — красный ре-зе-дент и здесь не меньше как цельным отрядом командует. Не одних фрицев под прицел взяла, а и нас, видать, вниманием не обошла. Много знает.

— А ночью не уйдет?

— Не сможет. С улицы охрану несет патруль. Во дворе — мы. На внутренней двери будет замок, да и пацаненок ее держит крепко. Но все равно, глядеть в оба, чтоб мышь не проскочила! В случае чего — помощь запрашивать двумя выстрелами в воздух. Пароль знаете.

— Знаем... Дрезд...

— Дрезден, дура, город такой.

— Правильно, Дрезден. Ну, пошли!

Я прячусь в сугробе, и делаю это вовремя, потому что рядом, поднимая белую пыль, один за другим проходят полицаи. Еще несколько шагов, и они будто проваливаются сквозь землю.

Я не чувствую ни мороза, ни ледяного снега, который до краев наполнил бурочки, забивается в рукава и под полы пальто.

«Сейчас... я скоро...»

Бросаюсь к пожарной лестнице и сразу оказываюсь наверху, на чердаке. Кто еще знает про эту дорогу? Никто! И никто никогда не догадается, что из Жениного домика можно уйти, не выходя на крыльцо.

Конечно, летом перебираться с одного дома на другой намного легче. Однако и теперь я сумела пройти этот путь.

По бревнам двух стен, как по ступенькам, скатываюсь вниз и по горло утопаю в снегу. Ищу лаз, благо хорошо помню, в каком месте он должен быть... Наконец-то нога, все глубже и глубже увязая, уходит под фундамент. Задыхаясь от снега, лезу под коридор в кромешную тьму. И тут сверху раздается сильный грохот: согнувшись крючком от страха, прячу голову в коленях... Но вскоре догадываюсь, что это всего лишь шаги — стук тех страшных черных сапог.

«Вражина проклятый, не попадусь я тебе, не схватишь!..»

И я начинаю внимательно прислушиваться к каждому шороху, каждому звуку. Слышу, как стукнула входная дверь, проскрипели мерзлые доски крыльца: кто-то вышел из домика на улицу. Потом еще раз повторилось — грохот, стук, затихающие где-то в снегу шаги.

И вдруг наступила тишина — мертвая, глухая тишь, от которой начинает звенеть в ушах.

Наугад ползу к другому отверстию, осторожно шарю по каменной кладке.

«Вот оно!»

Перевалив через преграду, некоторое время неподвижно лежу на сухом и, как мне кажется, теплом песке. Все та же тишина, но здесь есть свет, который тусклыми полосками кое-где пробивается сквозь дощатый пол.

Долго прислушиваюсь, но вверху ни малейшего движения.

«Да живы ли они?!» В отчаянии начинаю стучать кулаками по доскам.

Легкое колебание половиц: кто-то припадает к полу, и как раз надо мной.

— Кто? Кто там? — доносится негромкий голос Жени.

— Это я, Шурка! — Стук собственного сердца заглушает все звуки. — Давайте сюда ко мне — под пол!

— Тихо, Саша!

Я слышу, как Женя дергает доски, пытаясь приподнять то одну из них, то другую, но они не поддаются. На четвереньках мечусь из одной стороны в другую, пытаясь помочь ей.

— Сейчас, сейчас...

Женя все-таки отыскала половицу, которая оказалась ей под силу. Доска медленно приподнимается, и, как мне кажется, необыкновенно яркий свет керосиновой лампы ударяет в глаза.

Я оказалась на кухне, у самой печки.

— Саша... девочка... родная моя... — Евгения Алексеевна, стоя на коленях, крепко сжала мою голову руками и целует в лоб, нос, щеки. — Все поняла, обо всем догадалась, умница! Как же теперь?!.

Я спешу рассказать Жене и про лаз под домом, и про полицаев, и про метель, и про деда Гаврилу, а она, смеясь и вытирая слезы, все целует меня, как будто мы не виделись многие годы и встретились после долгой разлуки.

Но вот, будто придя в себя, она поднялась с пола и поспешила за перегородку.

— Сережа, проснись! Да проснись же ты!! — тормошила она мальчишку.

Вскоре они были готовы.

— Держись за Сашу! — приказала Женя пацану. — Она спасет тебя, и ты будешь жить. Жить, Сережа!

Покрытый серым большим платком, Сергей безмолвно скользнул ко мне и обхватил мою шею руками.

— Сейчас погасим лампу, пусть думают, что мы спим. Будить не

станут, потолкаются у порога — и за дверь, да и проверка не раньше чем через час.

Но перед тем как задуть огонь лампы, Женя просунула руку в поддувало печи, наполненное золой, и вынула оттуда маленькие ручные часы.

— Четверть восьмого.

Свет погас.

В полной темноте Женя спустилась к нам и прикрыла щель половицей...

Ей мало что пришлось объяснять. Посадив мальчишку на спину, она легко и ловко преодолевала все препятствия, успевая помочь и мне, если надо.

Но продвигались мы по необыкновенной дороге все равно медленно: Женя соблюдала большую осторожность.

На предпоследнем чердаке я отыскала доску, которую когда-то припас Виктор, и мы превратили ее в перекидной мостик.

Еще одно препятствие, а там — вниз, минуя редкие постройки, — на окраинную часть города.

— Ну, а теперь «Дрезден» поможет нам добраться до Москвы

Однако прежде, чем сделать несколько шагов от одного чердака к другому по шаткой узкой доске, Евгения Алексеевна повернула меня к тусклому свету, присела, оказавшись лицом к лицу. Голос у нее стал твердый.

— Сейчас мы уйдем, а ты незаметно вернись домой и помни: о том, что произошло, нельзя говорить никому. Слышишь, никому! — и она встряхнула меня за плечи. — Одно слово — и погибнет вся ваша семья, они не пощадят даже твоего маленького брата. Что б ни случилось, ты будешь молчать. Ты обещаешь это мне, лейтенанту Красной Армии?

Я опускаю глаза, потому что совсем некстати вспоминаю, как отвечала на все вопросы эсэсовца.

— Обещаю. — Но Женя продолжает крепко держать меня за плечи. — Правда не скажу... честное пионерское.

— Верю. — Женя выпрямилась. — До свидания, Саша! До скорой встречи!

Она подхватила на руки Сережу, шаг... второй...

Я крепко держу конец доски, но вот та уже перестала вздрагивать и начала быстро ускользать от меня. Женя почему-то решила перетащить ее к себе.

Вглядываюсь в широкое темное отверстие на противоположном доме, но не вижу даже колебания крохотной тени. Из глаз моих хлынули слезы.

— Женя... — шепчут пересохшие губы, — Женечка-аа, не уходи... останься...

Но только ветер свистит над крышей. Вовсю разбушевалась метелица, заметая следы побега.

С этой утешительной мыслью я в тот вечер и уснула, незаметно вернувшись домой и забравшись на печку.

Друг возвращается с полпути

Грохот в дверь на рассвете, кажется, должен был разбудить не только нашу семью, но и всю улицу с дворами и переулками.

Я скатилась с печки, подбежала к матери, ухватилась за нее обеими руками. В лицо, слепя, ударил злой свет фонарика...

Мы стояли в ряд — мама, бабушка и я, а перед нами как будто стена — эсэсовцы.

— Фамилия! — прозвучал резкий голос. — Назвать фамилию и имя!

Мама и бабушка молчали.

— Краскова Саша, — прозвучало одиноко.

Холодное дуло автомата воткнулось мне в грудь и оттеснило в сторону.

— Фамилия! — Желтый круг застыл на матери и уже не двигался.

— Я не помню... не помню... — проговорила она каким-то не своим голосом.

— Аусвай! Пашпорт! Бистро!

Бабушка торопливо отстегнула от юбки кисет, вынула два паспорта, протянула в темноту. Рука в перчатке, туго обтягивающей кисть, забрала их.

— Кто еще есть в этом доме?

— Никого.

Раздалась команда — «стена» зашевелилась и рассыпалась по комнате.

Каратели шарили под кроватями, заглянули на печку и под печку, испробовали крепость половиц.

Бешеный огонек обскакал все углы и замер в ожидании.

— Краскова Федосия Ильинична, — прочитал немец по паспорту. — Одеться айн момэнт!

Я бросилась к матери, схватила ее руку.

— Мамка, скажи им, что ты ничего не делала, ничего... — Какая-то сила обрушилась на меня, отшвырнула прочь, и я ударилась головой о стенку. — Мамочка-аа!..

Мать вывели во двор. Уже серел в снежной тиши рассвет, и издали можно было рассмотреть крытую машину. К ней сгоняли женщин.

— О-ох... — надрывно стонет бабушка, выглядывая из коридора, потому что выходить на улицу запрещено. — Зело ненасытно чудище поганое: людскую кровь пьет, а телами питается. Не было от веку такого и не будет. О-хо-оо, дитятко мое, Фенюшка!..

Из дома напротив выволокли Полину Егоровну, заставили подняться на ноги и тоже погнали к зловещей машине, подталкивая автоматами.

Загрохотал мотор.

— Ахти лихо! Увозят!

— Мамка-аа! — Я прыгаю с крыльца, бегу к машине, но высокие

сугробы не пускают меня. Падаю, поднимаюсь, снова по пояс зарываюсь в снег.

Машина рычит еще сильнее и трогается с места.

— Нет, мам, не-ее! — Хватаюсь за зыбкий снежный бугор руками и тону в нем с головой. — Я все скажу тебе... — говорю я сама себе, так как меня все равно никто не слышит.

Машина рванула не вперед, а дала задний ход, готовая и меня придавить огромным колесом.

— Шура! — слышу я голос матери. — Будь умница!.. Ваню береги! Ваню... И отца жди! Жди!..

Закрытая, будто слепая, машина обдала меня бензиновой гарью и поползла по зимним ухабам к центру города... к комендатуре.

Я крепко закрыла глаза, чтоб не видеть этого.

— Вставай, внученька! — поднимает меня бабушка. — Раздетая ты, разутая, простудишься. Беги домой. А я к Ивановым пойду, возьму сирот, а то страшно им одним-то.

В избе, на теплой печке, меня вдруг стало колотить, как будто я все еще на улице, в снегу. Ищу свое пальто, которое, помню, вчера прихватила с собой, чтобы просушить. Но оно все еще сырое, и я стараюсь спрятать его как можно дальше: заталкиваю в самый темный и дальний угол печки. Больше я уже не могла ничего воспринимать и запоминать...

Пробудилась — или просто пришла в себя — от непрестанного шороха над головой, тихого, похожего на мышиную возню.

Это Ивашка и Светланка, взявшись за руки, сидят рядом и не спускают с меня глаз.

Жара, нестерпимая жара: горят руки, ноги, пылает голова...

— Баба, баба, — зову я бабушку, но она, кажется, никогда не услышит меня — так слаб мой голос.

Помогают ребятишки, которые с криками бросаются на поиски бабушки.

Вскоре бабушка склоняется надо мной.

— Маму отпустили? — спрашиваю я.

— Поколь нету... А за что взяли — никто не ведает. Говорят, что по нескольку раз в сутки на допросы водят... бьют.. . — утирает бабушка мокрые от слез глаза.

— Ты, бабусь, не сердись на меня, — с трудом произношу я слова, — и не кори сильно... я все одно скоро помру...

— Да что ты говоришь?! Внученька моя, горькая сиротинушка, — громко причитает надо мной бабушка, а доброе лицо ее все тает и тает и наконец исчезает совсем.

Пришла в себя — уже лежу в кровати; Светлана и Ваня снова рядом, словно стерегут, когда я глаза открою. Они в тот же миг убегают, сказать бабе Ане, что я проснулась.

Бабушка подходит с кружкой, от которой идет горячий пар.

— Попей, внучка, три дня ты в рот ничего не брала. Горишь вся. Экая хвороба на тебя навалилась... — И она поднимает мою голову, чтобы влить в рот молоко.

— Не-ее, — бессильно сопротивляюсь я. — Мамка дома?

— В комендатуре они все еще. Все на дознание водят, издеваются, а есть не дают и передач никаких не принимают. А за что все это?! Мы ведь ничего не знаем, ничего не ведаем. — Слезы расплываются по ее лицу, исчезая в глубоких морщинках, как сухих бороздках. — Евгенья-то наша ушла от них. Никак им нельзя было упускать ее с секретами, да перехитрила она их — ушла из-под носа.

Витька выскочил на середину комнаты, как черт из печки.

— Как же, перехитрила!.. Из-под носа ушла!.. — кричит он срывающимся от злости голосом. — И не перехитрила вовсе! А это все Шурка... Она про лаз под дом знала... она...

У бабушки округлились глаза.

— Замолкни! — Оставив кружку с молоком, она пошла на Виктора медленно, тяжело, с поднятыми кулаками. — Замолкни, а то язык вырву!

Витька отскочил в сторону.

— Мамку взяли из-за нее... — заплакал он навзрыд.

Захныкали и малыши: в доме стоял плач. Баба Аня опустила руки.

— Большой ты, Витька, малец, двенадцать годов, а глупый, — заговорила бабушка. — Ежели в доме твоем пожар, тушить надоби всем миром, а уж кому в полымя прыгать — об том судьба да совесть людская распоряжаются. И запомни ты, христом-богом тебя прошу, про Евгенью мы ничего не знаем, ничего не ведаем. Мы — люди мирные.

И вдруг я увидела свое пальто: оно висело на самодельной вешалке, на самом видном месте. Мне кажется, что оно в песке и все еще не просохло. Я хочу только одного, чтоб его убрали подальше.

— Баба!.. — Но меня никто не слышит. Я приподнимаюсь и падаю.

— Шура, внученька! — бабушка бросается ко мне. — Ты болезни-то сопротивляйся, тебе в памяти надо быть, а то жар спалит. Вот молочка... — снова подносит она кружку к губам, — попей и борись, никто нам таперь не поможет — одни остались на страшном свете. Шура!..

Я пытаюсь ухватиться за бабушкину руку или хотя бы не закрывать глаза, но не могу сделать ни то, ни другое: черно-красная раскаленная пустота снова наваливается на меня. Последнее, что я слышу, — громкий рев ребятишек...

Я уверена, что в тот вечер очнулась не от воздушной тревоги, а именно оттого, что на моем лбу лежала ладонь: широкая, холодная с мороза и ласковая. И она, словно исцелила, заставила прийти в себя.

Смотрю на человека, сидящего рядом: лицо знакомо, но я никак не могу узнать его. И чем больше всматриваюсь в это лицо, тем больше теряюсь в догадках.

И вдруг он заговорил голосом Гаврилы Прохоровича.

— Ну, здравствуй, Касаточка! — и подмигнул озорно и весело.

— Ахти!.. Дед!..

Однако дед совсем не похож на деда, и я теперь понимаю, почему не узнала его: у деда Гаврилы не стало бороды — длинной белой бороды.

— А все равно ты — Дед!

— Ишь ты, признала, остроглазая, — улыбается довольный Гаврила Прохорович, — значит, память есть.

— Беда-то какая, мил человек, — стоя у изголовья, стонет бабушка, как старое, надломленное бурей дерево, — в тот день, когда мать ее заарестовали, жар сильный случился, а супротив средства никакого. Уже шестые сутки минули, а улучшенья нету. Ослабла она, и, боюсь, не справиться ей с болестью, кабы...

— Да ты, старая, совсем из ума выжила, — неодобрительно смотрит Гаврила Прохорович на бабу Аню. — Такая девчушка боевая, да чтоб она... быть того не может! — И он стукнул по колену кулаком: — Жить должна!!!

— Я постоянно при ней, — снова заговорила бабушка, вытирая лицо ладонями. — Малых с Виктором в убежище отправила, а сама тут. Уж не знаю, какому богу молиться, чтоб нас бомбой не накрыло...

Я мало слушаю бабушку: все смотрю на Гаврилу Прохоровича, не отрывая от него восхищенного взгляда. И одет он по-другому: легкий белый полушубок, шапка-ушанка, а на ногах — мягкие теплые валенки.

Ищи теперь свищи дряхлого лохматого старца — нет его...

— А я к тебе пришел, дочка, — говорит он, — правда, баба твоя не хотела пускать меня, все допытывалась: кто такой, откуда взялся? — И он тихонько рассмеялся: — Пришлось признаваться.

— Да как же тебя узнать-то нонече? Никак не узнать, — оправдывается бабушка. — Вона ты какой молодец стал! Такому да в армию солдатом...

— А я и есть, мать, солдат — солдат Красной Армии...

— Ахти! — всплескивает руками бабушка. — Да если наполовину правда твоя, так ты остерегайся, схватят тебя. Уходить надо.

— Пока не надо, я свое время знаю. Да и нет такого фашиста на свете, который бы нас с Александрой голыми руками взял. Мы где хошь пройдем, а следа не оставим. Вот такие мы — псковские. Смекалкой силу побороли. Ты не гляди, что курносые. — И снова хитрый глаз прищурился и моргнул, чтоб я рассмеялась.

И я смеюсь...

— Ведь как услыхал, что товарищ мой — Саша Краскова — занемогла, с полдороги вернулся, а был неблизко от этих мест. Такому дорогому другу обязан помочь. — Гаврила Прохорович поднял с полу вещмешок, развязал тесемку. — Вот ей лекарство, — протянул он бабушке пакетик. — Ты только, мать, подальше прячь его от чужих глаз, потому как во всем вашем городе не сыщешь такого и всякий поймет, откуда оно взялось.

— Неужто от наших... от партизан? — не может удержаться от расспросов бабушка.

— От них... а может, и не от них, а от тех, кто дальше находит-

ся. — Дед поднял палец кверху. — Эвона они... сыплют угольков горячих!

Действительно, бомбежка была в самом разгаре: били зенитки, слышались взрывы и гул моторов. Но с Гаврилой Прохоровичем все было как в сказке, где в яростной схватке мужичок из никчемушнего и слабого в богатыря превратился! Жаль только, стемнело, и я уже не вижу его лица и глаз.

«С полпути вернулся... к другу...» — Мне очень хорошо и даже как будто голова не болит.

Гаврила Прохорович из открытого мешка переложил в передник бабы Ани хлеб, сахар, какие-то пакеты. По его приказу я проглотила сразу две таблетки.

— Температуру снимет, и жди, Александра, дело на поправку пойдет. — Гладит он мои давно не чесанные, свалявшиеся волосы.

Последняя бомба разорвалась где-то совсем близко: сильно задрожали стекла, распахнулась дверь.

Гаврила Прохорович встал, прислушался.

— Вот теперь и мне пора, — он повесил опустевший вещмешок на плечо. — Так не поминайте лихом!

— Добром, мил человек, добром поминать будем. Сирот не забыл в такую минуту... Внучку мою, может, от смерти спас... — бабушка склонила перед ним голову.

— Ты крепись, мать! — обнял ее Гаврила Прохорович за плечи. — И если у тебя спросит кто-нибудь, кого видала у дома своей соседки в тот вечер...

— Какой соседки? Какой вечер? — не понимает бабушка, о чем идет речь.

— Да той, которую Евгенией звали, помнишь?

— Про эту все помню. Разве такое забудешь...

— Так вот, если кто-то про тот случай расспрашивать станет, говори, что Карева видала.

— И правда видала, — соглашается бабушка, — да только не для доброго дела душегубец крутился.

— Так вот, Советская власть таким смертный приговор выносит, и пусть фашисты этого карателя своими руками уберут. Нельзя ему ходить по земле, мать.

— Нельзя, — коротко подтвердила бабушка.

Гаврила Прохорович наклонился ко мне.

— А тебе, товарищ Краскова, благодарность от Красной Армии заслужила! — и он крепко сжал мою руку.

От счастья или от сильной слабости у меня снова закружилась голова; я только на минуточку прикрыла глаза, а Деда уже нет, ушел сказочный Дед... навсегда.

Все еще с надеждой смотрю на дверь, но через порог переваливает Виктор с ребятишками. Он по-хозяйски опустил на окнах светомаскировочную плотную черную бумагу, засветил «коптилку». Хмурое лицо его серьезно и озабоченно.

— А вы что смеетесь? — с удивлением смотрит он то на бабушку, то на меня.

— Мы, Витя, не смеемся, а радуемся, — отвечает баба Аня.

Витька презрительно фыркнул, будто его хотели обдурить.

— Радуются... Вы на двор выйдите да поглядите, как после бомбежки на Первомайской дома наши горят. Вся улица огнем занялась.

И поскольку мы продолжаем улыбаться, крикнул со слезами и злостью в голосе:

— Нету у нас больше дома, нету!

— А ты, внучек, не горюй шибко, — спокойно говорит бабушка, — там, где мы есть, — земля и небо завсегда при нас останутся, а дома построим новые. Ох, и до чего ж это приятная маета — дом новый строить! Вы, ребятки, садитесь-ка за стол, я поесть вам дам и историю славную расскажу.

Голодные малыши ринулись занимать места, мигом вскарабкались на скамейку. А бабушка повела рассказ о том, как один мужик решил построить невиданные хоромы...

И я бы рада послушать ее, да со сном бороться не в силах: с добрым сном, тем, который болезнь прогоняет, а сил — прибавляет.

«Спать, спать...»

Огромный шар срывается с нитки и начинает кружить по всей избе — разноцветный, веселый и весь светящийся изнутри...

«Найдет тебя твой принц, отыщет...» — говорю я и засыпаю.

Витька дерется

Шершнёва пришла в наш дом так же нежданно и непрошенно, как и в первый раз. Огляделась, будто сова в солнечный день, и села у стола на табуретку. На ней все то же пальто с рыжей лисой, смешная маленькая шляпка, перчатки, которые ей с трудом удалось снять с рук.

Все та же Лизка, да не та...

Сидит сгорбившись, подперши голову рукой, как будто голова не держится без подпорки; лицо ее бледное, без румян, и глаза не бегают, как прежде, а уставились мрачно в одну точку. И этой точкой для нее была я.

— Девчонка что лежит? — спрашивает она бабушку.

— Хворает, — кратко отвечает та.

— А что с ней?

— Простудилась.

— Чего ж острижена?

— Нечем волосы мыть, мыла нету.

— А может, тиф у нее? Вона глаза какие, как плошки, и волос нет...

— Простудилась она, — бабушка зло смотрит на Лизку, — а ежели тифа боишься, что по чужим домам шляешься?

Наконец-то Лизка отвела от меня тяжелый долгий взгляд.

— А я где хочу там и хожу. Вот и к тебе пришла узнать, как живешь при новой власти?

— Как все. — Видно по всему, что бабушке не хочется ни о чем говорить с незваной гостьей.

— Да уж ясно... как все... — И Лизка посмотрела на печку, откуда с настороженным любопытством на нее смотрело шестеро глаз. — Феню взяли, Полину взяли... вона у тебя теперь какое богатство — четверо душ, сама пятая, жрать что?

— Не твоя забота.

— Это точно, не моя, — усмехнулась Лизка и снова уставилась на меня. — Девчонка давно болеет?

— Давно аль недавно, тебе-то что?

— Гордая ты, тетка Анна, а дурная. Глядишь, не сегодня завтра не станет вас, а ты все спину выгибаешь, как бешеная кошка.

— Уж не ты ль наша спасительница?

— А может, и я...

— Избави господи! — крестится бабушка.

— Ты не больно-то усердствуй в молитве! — И Лизка с силой бьет кулаком по столу — на пол со звоном падает алюминиевая ложка.

— Да ты никак пьяная?

— Ну и что ж, что пьяная? А дело свое знаю! — Шершнёва ударила еще раз себя в грудь. Вздрогнула и закачалась засушенная лисья голова, у которой глазки-бусинки выпали, а шерсть изрядно повылезла. — Знаю дело... и помню, как ты, ведьма, меня дурила насчет этой твари — беженки... дочка Попова... дочка Попова...

— Так я и опять скажу, что Попова она...

— Замолкни! — И снова сильный грохот по столу. — А чем она занималась в оккупации, что делала, ты знаешь, а?

— Что делала? — бабушка подумала. — Что делала, про то все знают. Немцам служила...

— Не каркай, старая ворона, если ничего не знаешь. — Голова у Шершнёвой давно соскочила с подпорки и качалась из стороны в сторону, с трудом ей удалось снова подцепить ее на собственный кулак. — Она ж, эта Попова, — шпионка, а все сведенья красным за линию фронта передавала. Взяли ее по крупной, документ важный украла. Изуродовали бы ее на допросах, что мать родная не признала, а потом бы расстреляли, да ушла. Кто-то помог ей уйти... кто-то помог...

— Знамо дело, помогли, — вдруг соглашается бабушка, — ей помогли, а тебе, Лизавета, никто не поможет.

Шершнёву будто ударили: она подпрыгнула, закрываясь рукой и теряя равновесие, повалилась на стол. Воротник соскользнул с плеч на колени, и Шершнёва бросила его на пол.

— Ты что сказала?! — уставилась она бешеным взглядом на бабу Аню.

— Ан хорошо все слыхала, что я сказала, повторять не надо. — И бабушка встала напротив, подперши бока руками. — Красные при-



дут, все тебе припомнят, ежели не пристрелят допрежь благодетели, у которых ты нынче на службе.

— Да я тебя!.. — Лизка метнулась к бабушке и схватила ее за горло.

— Не трогай бабу!!

Витька прыгнул с печки, выхватил с загнетки полено и шарахнул Шершнёву по спине.

Она развернулась и, ничего не видя перед собой, пошла на Виктора, расставив длинные руки ухватом.

— Гаденыш-шш, — шипела она, пытаясь поймать мальчишку.

Но он оказался ловчее и быстрее ее и увертывался.

Гоняясь за Виктором, Шершнёва наступила на свой воротник, сильно покачнулась и рухнула на пол.

— Ах так?! — завыла она во весь голос, заставив ребятишек — Светланку и Ивашку — от страха забиться в самый угол на печке.

— Не трогай нашу бабу!

— Да я вас! — Но она еще долго не могла подняться: сплевывала, бранилась. Наконец дотянулась до скамейки, ухватилась за нее обеими руками. — Убить вас мало.

— Ладно, будет, — пытается утихомирить ее бабушка, — сама виновата. Получила свое и иди теперь от нас туда, откуда пришла.

— А почем ты знаешь, откуда я пришла? — понизила Лизка голос так, что я с трудом расслышала ее слова. — Откуда, говори!

— Знать, из немецкой офицерской столовой, — усмехается бабушка. — Сама в прошлый раз болтала, что у них работаешь.

Лизка села на скамейку, отряхнулась.

— А-аа, ничего ты не знаешь, тетка Анна. Не знаешь, как меня лупят фашистские ублюдки, еще похлеще, чем этот щенок. — Она погрозила кулаком Виктору, который стоял начеку с поленом в руке. — Иногда шнапсу всклень нальют, а другой раз только на донышко плеснут. А я им сведенья подавай. Ничего не дам. Не дам и — все!

Она долго поносила своих хозяев, но в конце концов затихла. Хмель у нее прошел, и маленькие быстрые глазки сразу начали свою нелегкую службу: бегать по углам, по стенкам, высматривать, выглядывать.

— Ваших — Феню и Полю — на допросы водят, — снова заговорила она, так как в доме все молчали, бьют, а они запираются не знаем, мол, кто помог Поповой...

— И верно, не знают, про такое мало кто может знать, потому как втайне все делается, — бабушка приблизилась к Лизке. — А я видала, вот как тебя сейчас, Карева. Он и вывел ее из-под охраны.

— Врешь! — Лизка начала медленно подниматься со скамейки. — Да Карев же на них не по принуждению работает, а по совести, он Советскую власть ненавидит.

— И Попова работала... по своей нужде, а дружбу с ним водила... часто он к ней по ночам тайно наведывался, а уж за какой надобностью — не ведаю, потому как полюбовником у нее известный всем фриц состоял, тот вечерами ходил, а иногда и днем.

— Так, так, так... — застрочила, как из пулемета, Лизка, пораженная бабушкиными словами, — так, говори дальше!

Но бабушка не захотела много говорить.

— Так аль не так, но мое последнее слово — Карев все сделал, а коли мне не веришь, у Шуры спроси — внучки моей, мы с ней вместе тогда на двор выходили, — и бабушка бросила в мою сторону быстрый полный тревоги взгляд.

— Так, так... — строчила Лизка и вдруг замолчала, начала рассуждать: — Хитер этот Карев, как бес. Захотел из воды сухим выйти, будто б и не расстреливал мирных граждан. А я-то видала его в деле.—Она подобрала растрепанные волосы, затолкала под шляпку, повесила воротник на плечо. — Сегодня Гансик выдаст мне шнапсу, ему же в первую очередь разжалование положено, теперь он стаканом не отделается. Лизавета себе цену знает!

— Господи, — перекрестилась баба Аня, — избави нас от войны, а от таких страшных людей мы сами избавимся.

— Ай да Карев! Задумал гестапо за нос водить. А они сегодня стаканом не отделаются!.. — торжествовала Лизка.

Она наспех пригладила лисий мех, натянула перчатки. Больше ей у нас нечего было делать, она спешила уйти, но у порога все-таки остановилась.

— Уж больно, тетка Анна, у вас девчонка страшная — лежит, что покойник. Вы б ее куда-нибудь в темное место отодвинули.

— Иди! Иди прочь! — яростно замахала на нее бабушка руками. — Сгинь с глаз моих!

Дверь грохнула: Шершнёва ушла.

Виктор швырнул полено в угол.

— Зря ты, бабусь, с ней говорила, предательница она... — И, протирая глаза кулаками, снова залез на печку.

Бабушка не спеша прибрала все в доме, даже не забыла положить полено на место и села на скамейку, праздно сложив руки на коленях. Она сидела неподвижно, спокойно, как будто наступил час ее отдыха, нежданно-негаданно полученный за какие-то особые заслуги.

За бабушкой пришли в тот же вечер. Она уходила от нас, не смея повернуться спиной.

— Ждите, детки, ждите! А коль примета окажется верна, я обязательно вернусь.

Хромую, сгорбленную, тяжело опирающуюся на клюку, ее увел жандармский патруль из двух вооруженных фашистов.

Я не плакала, а Витька ревел: особенно на следующий день утром, когда первый раз в жизни топил печку, закатывая ухватом на под чугунки с картошкой, водой, крупой. Малыши, облепив его с двух сторон, просили то есть, то пить, то еще что-нибудь, в сарае тяжело мычала корова. Витька делал все, как умел, смешивая слезы с черной сажей и размазывая их по лицу.

Потянулись утомительно-долгие дни, запомнившиеся только одним — ожиданием.

День.. другой... третий...

9 Заказ 2163

На четвертый, ближе к полудню, в дом вбежала незнакомая запыхавшаяся женщина, закричала с порога:

— Ребятки! Скорей! Бегите! Матушек ваших в Германию в трудлагеря угоняют. Попрощаться можно и чего-нибудь из еды передать. Бегите к городской площади, там они. — И женщина помчалась дальше.

Виктор не растерялся, выхватил из печки чугунок с картошкой и высыпал в торбу, сверху положил бутыль с молоком и хлеб, какой только нашелся в доме. Снял со Светланки большой шерстяной платок и тоже затолкал туда.

— Это им для тепла, — объяснил он и ринулся за дверь.

«Германия страшно далеко... а городская площадь — близко. Германия далеко, а площадь — близко...» — думала я об одном и том же.

И я поняла, что мне делать. Сползла с кровати, сделала шаг, другой — не упала. Добралась до скамейки, оперлась, передохнула, начала одеваться.

Ребятишки подносили мне пальто, платок, бурочки...

— Саша к моей маме пойдет в... тюрьму...

— И к моей тоже! А потом в Еманию поедет... — говорят они друг другу, глядя на меня с любопытством и испугом.

— Пошла... — я с трудом закрываю за собой дверь, затыкаю прутиком, чтоб малыши не увязались за мной и не выбежали на улицу.

Пот заливает глаза, но я жмурюсь не от этого, а от яркого, словно полыхающего в чистом голубом небе, солнца! Да и чему удивляться, если март уже на исходе. Зима кончилась.

Я иду, пока есть силы, а потом присаживаюсь то на обгорелый поваленный телеграфный столб, то на срубленное дерево, а то и прямо на дорогу, чтобы отдохнуть и снова продолжать путь. Но я и сама замечаю, что отдыхаю больше, чем иду.

Меня догоняет старуха в огромных заскорузлых валенках и куцем пальто.

— Ты, внучка, куда такая хворая? Немцы не любят, чтоб такие по улицам ходили.

— На площадь я, бабушка, там мамка моя.

— А у меня дочка. — Теперь я вижу, что в руке она держит узелок. — Ты давай-ка, за меня цепляйся, а то одной тебе туда не добраться.

— Ничего, бабушка, это Германия далеко, а площадь близко, как-нибудь...

Но незнакомая старуха хорошо помогает мне, и идти становится легче.

Женщин держали под навесом, обнесенным колючей проволокой, а за ней, на небольшом расстоянии, валки такой же проволоки лежали на земле.

Где-то там — моя мама.

За ограждение вначале пропускают поодиночке только взрослых, а Виктор с другими ребятами — совсем маленькими, средними и постарше — ждут в стороне.

Подошла очередь и старухи, что помогла мне добраться до площади. Узелок ее развязали и — то ли умышленно, то ли случайно — высыпали на снег лук, краюху хлеба, кусочек сальца, картошку. Старая женщина опустилась на колени, торопливо собрала все и снова повязала затейливый, будто с двумя заячьими ушками, узелок. Незаметно смахивая слезу, прошла за проволоку.

А я тем временем, все ближе и ближе подхожу к ограждению: меня никто не останавливает — и я вплотную приближаюсь к нему. Напрасно ищу глазами мать...

Да вот они — ее глаза! — родные, ласковые. Чтобы не упасть, хватаюсь за колючий клубок.

— Мам, мама, — но это всего лишь шепот.

Однако мать кивает мне; она тоже держится за проволоку, рот ее открыт, наверное, говорит мне о чем-то, но я не слышу ни одного слова...

— Какая же ты маленькая, — говорю я ей, — какая ты хорошая. Ты прости меня, мам...

И она снова наклоняет голову, словно слышит меня и соглашается со мной.

— Плохо нам без тебя, совсем лихо, мама...

— Ахтунг! Ахтунг! Внимание! — слышится голос из громкоговорителя, и на площади воцаряется мертвая тишина. — Немецкое командование разрешает матерям взять детей с собой. Дети могут остаться с мамами!

Тяжелые длинные козлы, занимающие пространство от одного витка проволоки до другого, отодвинули в сторону, и ребята, как горох, покатились в гущу матерей. Те хватали их руками, целовали и прятали кого на груди, кого под полой пальто.

Площадь наполнилась стонами, возгласами радости, плачем детей.

Я рвусь к своей матери, но сил не хватает, чтоб успеть вместе со всеми. Иду вдоль проволочного заграждения, держась за него.

Вот и странные ворота — по обе стороны фашисты с автоматами, как будто ждут только меня, готовые в любой момент превратиться в живую непреодолимую стену... Я останавливаюсь.

— Шнель! — немецкий солдат показывает дулом автомата в сторону матерей, но знакомое чувство близкой опасности уже не позволяет мне сделать ни одного шага.

«Германия далеко... проклятая Германия...»

— Не хочу! Не останусь! — Слышу я вначале только отчаянный вопль Виктора. Но вот женщины расступились, и я вижу, как он что есть силы отбивается от Полины Егоровны.

— Сынок, да как же я без вас?! Хоть ты со мной... — она крепко держит его.

Виктор извивается, отталкивает мать руками и ногами.

— Пусти! Отпусти сейчас же! — и он бьет ее по лицу.

Полина Егоровна разжимает объятия, медленно оседает на землю. Витька скатывается вниз, бросается в узкий проход. Ему преграждают дорогу.

— Цурюк! Назад!

— Дяденьки, — просит Витька, — отпустите... это не моя мамка...

— Нихт матка?!

— Витька, Витька, — окликаю я его, чтоб он увидел меня.

— Нихт матка, — повторяет он и показывает на меня пальцем, — а вона моя сестра.

Виктора выпустили из мышеловки. Всю обратную дорогу он нес меня на спине.

— Вот глупая, — говорит он о своей матери, — нельзя мне с ней оставаться, она же пленная, а я не хочу в плен. Еле-еле отбился... Но ты не переживай, — пытается он утешить меня, — торбу я твоей мамке отдал, прямо в руки, она обещала... сказала... что живыми останутся. — Он сел во дворе на снег и, закрыв исхудавшее, бледное лицо драной шапчонкой, тихо заплакал.

Я глажу его светлую лохматую голову.

— Ты не плачь, Витька, а беги обратно. Близко не подходи, но и далеко не стой, остановись так, чтоб тетя Поля тебя видела. Вот тогда и скажи ей: «Прости меня!» И она простит, ты увидишь, как твоя мамка головой кивнет.

Витька послушался и побрел обратно.

Во второй раз увидеть мать Виктору уже не удалось: женщин с детьми быстро погрузили в машину и увезли на вокзал.

Однако спустя несколько дней к нам пришла радость: бабушку выпустили из комендатуры!

За время, проведенное там, она стала суше и как будто даже меньше ростом, но не сгорбилась.

— С волками жить, значит, по-ихнему и выть. Нету у них теперь верного пса Петра Карева, сами разорвали его на куски.

Думая о чем-то своем, бабушка махнула рукой и принялась ухаживать за мной, малышами, коровой. Да мало ли в доме по хозяйству дел?

Быль не сказка:
из нее слов не выкинешь

Мы не знали о победе Красной Армии летом 1943 года, но могли догадываться о каких-то переменах на фронте.

Наш маленький городок теперь всегда был переполнен немецкими войсками; и у нас в доме чуть ли не каждый день размещалось до двадцати человек. Иногда случалось так, что нам оставалась только печка, где мы впятером размещались на ночлег.

— Ахти, сколь же их! — не перестает удивляться бабушка. — Быль это аль небыль — народ свой на верную гибель слать. Да есть

ли у них мамки? А может, их, несчастных, волчица на свет произвела?

— А ты что, баба Аня, жалеешь этих фрицев? — злится на бабушку Виктор.

Он, как прежде, пастух, с утра до вечера в поле, а поэтому на печке занимает самое почетное место — середину, по бокам его — малыши, а мы с бабушкой у самого края.

— Так они ж, кормилец мой, — тихо поясняет бабушка Виктору, — тоже жить хотят.

— Хотели бы, так не лезли, куда их не просят.

Но они все идут и идут: в новых шинелях, крепких сапогах, с начищенными бляхами. Они идут, чтобы убивать, и я их всех ненавижу. Когда же их не станет?

На дворе дождь, густой туман, слякоть: наступила осень 1943 года — последняя осень оккупации.

— Шура, — однажды окликает меня бабушка,—ты посмотри-ка, кто к нам пришел.

Действительно, в дом вошел немецкий солдат, что же тут особенного? Однако я смотрю на него и не могу отвести взгляда...

На нем — потрепанная шинель без погон, блеклая, потерявшая вид и цвет пилотка, разбитые, насквозь промокшие ботинки. Он как будто не решается пройти дальше, стоит у порога, и смущенная улыбка не сходит с его губ. Казалось, ему неловко оттого, что он так плохо одет и так плохо выглядит, что он вошел в дом, где его никто не ждал...

«Да это же Хайнц Хезэ!» — узнала я его, но не представляю теперь, что мне делать и как вести себя.

А он вдруг срывается с места и спешит ко мне с протянутой рукой.

— Саша! Маленький дружок!..

Именно так когда-то, при нем, меня называла Женя, но ответить на приветствие я просто не в силах, будто превратилась в деревянную куклу, не могу пошевельнуть ни ногой, ни рукой.

Тогда он сел рядом на скамейку, закрылся руками: плечи вздрагивают, вот-вот сквозь худые тонкие пальцы прольются слезы.

— Эко они его... — только и смогла вымолвить баба Аня.

В доме стало так тихо, что было слышно, как на печи посапывают Ваня и Света.

Однако немец быстро справился с собой, поднял голову, заговорил немного насмешливо, немного грустно:

— Я был концлагерь для предателя рейха, так решил военный суд. Мой папа узнать — я есть предатель, отказаться от сына и делать запрет моей мама любить меня... — Он снова прячет лицо в ладонях.— Мутто... Она много, много плачет обо мне. Я знать всегда об этом... — Хайнц Хезэ привалился к стенке и простонал.

Мы с бабушкой молчим.

— Концлагерь есть место, где надо быстро забывать о том, что ты человек. Читать, писать, думать — все забывать. А я не забыл, — слезы уже катились по щекам и подбородку, но Хайнц не вытирал их.

Может быть, он не замечал этих слез, плакал, как ребенок, не стесняясь нас.

А мне все еще с трудом верится, что это тот самый Хайнц Хеэ — веселый и влюбленный обер-лейтенант.

«Как они его!» — мысленно повторяю я бабушкины слова.

— Матка, — вдруг обращается он к бабе Ане, — я хочу кушать.

Мы удивлены еще больше.

— Да не просит немецкий солдат есть у нас, — говорит бабушка. — А ты что, голодный?

— Я, я, — соглашается немец, — голодный, — это так называется по-русски. Голодный, пока иметь немного свобода и не быть в комендатур. В комендатур я получать новый званий — солдат армии фюрер, новый сапог, новый шинель, новый мундир и кушать. Кушать и отправляться на фронт. — И он также неожиданно для нас рассмеялся. — В комендатур никто не знать, что фронт даст полный свобода от война, от фюрер, от папа. Я делать вот так, — Хайнц поднял руки вверх, — делать так и получать свобода. И не забыл думать. Я просто человек, а не убийца.

Бабушка подходит к полке, берет большую миску.

— У нас только каша с молоком.

— ...только каша с молоком, — повторяет Хайнц, — я никогда не кушал пища — «только каша с молоком». Что это такое?

— А вот сейчас попробуешь и узнаешь, что это такое, — улыбается бабушка, накладывает полную миску душистой пшенной каши, заливает ее топленым молоком. — А ну-тка, — пододвигает она к немцу стол вместе с едой.

Хайнц, не снимая шинели и пилотки, взял ложку, зачерпнул раз, другой, третий...

— Гут только каша с молоком. Очань корош! — Ест быстро и жадно, но вдруг останавливается, поднимает на меня глаза: — Саша тоже хочет кушать?

— Не-ее, не хочу, — я даже отворачиваюсь от стола, — правда не хочу.

Но он продолжает смотреть на меня печально, задумчиво, долго... и в моих ушах неожиданно начинает звучать удивительно нежная мелодия...

Хайнц протягивает руку, дотрагивается до моих стриженых волос: платок все больше и больше сползает на плечи.

— О-оо, майн готт! Почему так?! Концлагерь?!

— Я болела...

Смущенно улыбаясь, он снимает пилотку.

— И у меня такой мода...

Я тоже протягиваю к нему руку и тоже глажу его колючий ежик. И мы начинаем смеяться, как маленькие... Ха-ха-ха...

— Ты знаешь о том, что Женя погиб? — внезапно обрывает Хайнц наше веселье.

— Я... Я... — несколько раз начинаю я фразу, но продолжить ее не могу. Хорошо помню приказ — молчать.

Однако Хайнц Хезэ по-своему понял мое «я»: для него — это утвердительное немецкое «да».

— Ты не мог знать о том, что Женя была храбрый разведчик. Она враг Германия, рейх... Для меня — только красивый фрейлейн... любимая женщина. Другого я не подозревать. Я узнавал все во время допроса меня гестапо... — И снова слезы, непрошеные слезы, застыли в глазах.

Хоть бы баба Аня сказала ему, что Женя ушла. Но она, сложив руки на груди, внимательно слушает, изредка вздыхает.

— Женя для меня всегда живая. Я всегда должен видеть ее как живая, а не как мертвая... это во многом помогать мне... — говорит он, и в памяти моей все сильнее и сильнее звучит музыка — вальс счастливого Хайнца Хезэ...

— Ты шибко не горюй, сынок, — пытается утешить его бабушка, — жди, война окончится, снова начнешь жить.

— Матка! — Хайнц стремительно поднимается со скамейки. — И мой папа надо чтобы жить! Но у него нет рук, — и он показывает на руки, которые будто бы обрубают по плечи, — ни ног! — И снова тот же страшный жест. — Оставаться только голова. Эта голова пусть видит, как горит, рушится его фабрик, его дом, его фашизм. Я другого не хотеть!

— Так-то оно так... — бабушка думает, прежде чем что-то сказать нашему гостю, — но время пройдет, и другого надо будет захотеть — жену, детей...

— ...жену, детей, — повторяет Хайнц, резко взмахивая рукой,— это ничего нет. Все расстрелять гестапо вместе с Женя, все расстрелять...

Он снова садится рядом со мной, берет в свою горячую руку мою, гладит ее.

— Саша будет иметь мужа, детей, большой дом. Она мало пока знать о жизни и много сказок. Это потом счастливый человек.

Я не смею отнять от него руку, сижу не двигаясь, а сердце стучит и стучит, будто я бегу на высокую гору. Жаль, что я ничем не могу помочь ему. Молча я пододвигаю поближе к нему миску с едой.

— Я, я, спасибо.

Он съел все до крошки, привалился к стенке, закрыл глаза, как будто уснул.

Бабушка вымыла посуду, начала готовить пойло буренке, ловко и бесшумно орудуя ухватом.

— Всех проклятая война утомила — от мала до велика, а жить надо, — тихо говорит она.

— ...а жить надо, — повторяет Хайнц, открывая глаза. — Мой папа ненавидит русское. А я кушаю у русских, говорю с русскими, русская матка хочет, чтоб я жил. Я буду жить и делать только вот так, — показывает он на соломенный шар — единственное украшение нашего жилища. — И моя мама умел делать так. — Он подошел к соломенной поделке и оглядел ее со всех сторон. — Она хотела радости навсегда любимому сыну, много радости.

Я не сдержалась, подбежала к нему:

— А Женя сказала, что это шар волшебный и его делал принц!

— Женя сказал?! — Хайнц наклоняется ко мне. — Она могла сказать... близко... я думаю, что это сказать сейчас... — От сильного волнения он совсем запутался в русских словах.

Но я хорошо поняла его. И не могу уже с радостью смотреть ему в глаза, опускаю ресницы.

— Она давно сказала... совсем давно.

Хайнц вздохнул.

— Я, я, понял... Она давно говорит тебе сказку, ты был тогда маленький. — Он взял шар в руки, повернул и так и эдак, словно видел то, что никому другому не дано было увидеть. Волшебный шар... и мне показалось, что в руках его держал... принц.

Он уходил от нас не оглядываясь: очень спешил в комендатуру.

— Ты подумай-ка, — говорит бабушка, — чудо какое, человек на войну стал грозиться, а сам-то ровно комар супротив чудища поганого, — она ненадолго задумалась. — А ведь и так случается, что от одного комара покоя нет, его ж все-таки изловить надоби.

— А он, бабушка, к нам больше никогда не придет.

— Господь с ним, пусть идет, как решил. Никто его теперь не вправе судить, он — сын человеческий.

Хайнц Хезэ... нет его, и оборвались звуки музыки, будто и не было их вовсе. Хайнц Хезэ... мне жаль его до слез, да нельзя об этом никому сказать.

Вечереет. Мы ждем Виктора с поля...

Бабушка уже и одежду приготовила, чтоб он смог переодеться в сухое чистое и идти на ужин к хозяйке-очереднице, а его все нет...

Вышли на улицу. Слегка подмораживает, и низкие облака, отрываясь от земли, поднимаются высоко и уплывают куда-то за горизонт. Вот и закат померк. А Виктора не видно...

Встречать корову с пастбища всегда было для нас радостью, но в тот вечер всех, даже малышей, охватила тревога.

— Да не забрали ли его немцы? — думает бабушка вслух, готовая отправиться на поиски Виктора.

И в этот момент мы увидали его. Он почему-то шел один, без нашей буренки, и яростно щелкал кнутом. Щелк — налево, щелк — направо... Подошел к нам, сел на крыльцо, скинул с головы шапчонку, ударил ею о землю.

— Проклятые фашисты!.. Гадюки!.. — Виктор задыхался от злобы и ненависти... — Всех коров отобрали... все стадо... Ох как бабы кричали!.. — Он не мог поднять головы и говорил, уставясь в какую-то точку. — Звездочка... та сразу почуяла что-то дурное, набычилась, упирается... никак не хотела идти, а ее прикладом... И все, гады, с автоматами...

Мы с бабушкой молчим, потому что невозможно сразу поверить в то, о чем он рассказал.

— А где теперь наша коровка? — ничего не понимая, пристают Светлана и Ивашка с расспросами к Виктору.

Бабушка ... ...ку, прижимает к себе.

— Детки, да это же смерть, голодная смерть.

Впятером мы стоим на улице, будто бы не решаясь войти в дом, где нас уже ничего не ждет, кроме голода.

Во двор вошли строем немцы; раздалась команда, и они стали расходиться на ночлег.

— Убивать их надо! Убивать! Всех... — голос Виктора сорвался, и он продолжал уже тише: — Вы меня только не уговаривайте, я все равно завтра к партизанам уйду.

— Да где ж ты их найдешь, внучок? — встревожилась баба Аня.

— Найду где-нибудь...

— Уж лучше бы своих дожидалси.

— Сколь ждать-то еще? — Виктор стегнул кнутом по крыльцу. — Все жданки поели.

— Может, в дом пойдем? — предлагаю я, но никто не откликнулся.

Чем больше темнеет, тем больше морозит.

— Гляньте-ка, детки! — вдруг восклицает бабушка. — Зарево на восточной стороне!

И действительно, в том месте, куда указывала баба Аня, край неба тоже освещен красноватым цветом, даже более ярким и широким, чем на западе.

— Это же фронт! Фронт совсем близко! — У бабушки затряслись руки, и она уронила клюку. — Ты, Витя, ляг на землю, да ухо приложи, может, гремит, а мы не чуем.

Виктор так и делает.

— Слышно, баба Аня. Ой как слышно!!!

Я тоже ложусь на землю, даже отворачиваю платок, прикладывая ухо к холодному песку. Нет, ничего не слышно. Но я все равно соглашаюсь с Виктором.

— И правда... чтой-то грохочет... сильно грохочет!

Подошел немецкий солдат, смотрит на нас.

— Ты скажи, германец, — обращается к нему бабушка, — нашити скоро тут будут?

Немец не понимает.

— Когда красные придут?

Солдат наконец понял, о чем его спрашивают, поднял вверх указательный палец.

— Айн месоц, матка, — сказал он и устало пошел в дом.

— Бабушка, давай же скорее собираться! — Горе сменилось небывалой радостью. — К своим! По старой шоссейной дороге на Великие Луки. — От счастья мне хочется подпрыгнуть выше крыши.

— И соберемся, и пойдем, — обещает нам баба Аня, — вот только наяву громыхнет, сразу тронемся в путь.

А поздно вечером, когда все улеглись спать, я, забившись в дальний угол на печке, долго и безутешно плакала по нашей буренке, вспоминала отца, маму и все то доброе и хорошее, что было когда-то на белом свете.

Немецкий солдат ошибся: наступление Красной Армии началось не через месяц, а спустя целых три — 20 февраля 1944 года.

Именно в тот день я проснулась от все нарастающего гула и по звуку догадалась, что на город летят самолеты. Резко поднялась на печке, больно ударившись головой о потолочную балку, схватила одежду, которая всегда находилась под рукой.

Виктор тоже проснулся и тоже стал торопливо одеваться.

Выученные постоянными бомбежками, мы впотьмах собирались так быстро, что уходили на это считанные секунды. Одно показалось странным в то утро — бомбежка в такой ранний час, а не днем или ночью, как это было раньше.

Шум все усиливался, мы с Виктором выбежали во двор и увидели на восточной окраине неба вместе с нарождающейся зарей целую армаду бомбардировщиков: грузную, стройную и беспощадную колонну машин, которая, казалось, шла прямо на нас. И если раньше ничего не составляло пересчитать их по пальцам, то сейчас сделать это было невозможно: они закрывали весь горизонт.

В сильном волнении я начала кричать, что будут бомбить, а Светланка и Ивашка еще спят, еще не одеты и не обуты и что надо спешить...

Но Витька стоял как вкопанный, показывая мне рукой куда-то за город.

И правда, самолеты проплывали мимо, как будто и в самом деле здесь им уже нечего делать. Их целью оказались высотки в трех-четырех километрах от жилых домов, и в той стороне в визге и грохоте бомб на огромную высоту поднялись земляные фонтаны, столбы пыли и дыма.

— По ихним укреплениям бьют, — сделал заключение Виктор, который всегда больше знал, где и что находится у немцев. — Туда лучше не суйся, расстрел на месте, — процедил он сквозь зубы и, как всегда, сплюнул от великого презрения к фашистам.

О силе тех оборонительных сооружений я узнала уже взрослым человеком, узнала и их название — «Пантера».

«Пантеру» били лихо, смешивая деревья с землей, а землю с небом. А мы стояли и смотрели на бомбовые удары, пока они не прекратились совсем.

На улице было студено, захотелось поскорее залезть на печку, погреться да подремать еще немного. Я уже направилась в дом, как вдруг над головой полетели снаряды. Они с диким воем проносились в сторону все тех же высот, словно из них за одно утро во что бы то ни стало следовало сделать ровное место. Они летели так низко, что порой казалось, вот-вот упадут на крыши домов.

Новая, неведомая до того опасность еще больше переполошила всех: захлопали двери домов, послышались возгласы женщин, плачь ребятишек, крики немецких солдат.

На крыльцо выскочила баба Аня с большим узлом.

— Скорей!.. Собирайтесь!.. Уходить надо...

Впопыхах быстро одели малышей, похватали еще кое-что из пожитков, выбежали на улицу. Торопливо уложили все на санки-самоделки, собрались трогать, сами еще не зная куда, но в этот момент взвыло что-то чудовищно-грозное и небо прорезали гигантские огненные стрелы.

Я упала на землю, накрыв собой Ваню и Светланку.

— Родненькие мои, тише-ее...

Но дети и не думали реветь, видно, с перепугу им никак не удавалось это.

— Давай в убежище! —требовал Виктор, вытаскивая из-под меня ребятишек.

Пригнувшись, мы побежали к подвалу, спотыкались, снова поднимались, не надеясь добраться до укрытия, хотя расстояние до него было не более сотни метров. Хотелось зарыться в землю, чтобы только не слышать этого ужасного орудийного воя.

Труднее всего было бабушке: ноги совсем не держали ее. Она часто садилась на снег, торопливо крестилась.

— Ахти мне, конец света! — ужасалась она, мельком глянув на небо.

Наконец добрались до цели.

«Живые!» — я прижала к себе Ивашку, и он крепко ухватился за мою шею обеими ручонками.

В убежище уже собрались люди, и откуда-то из темноты донесся глухой голос:

— «Катюша» заговорила — наши наступают!

«Вот это наступают так наступают. Не надо ухо прикладывать к земле, прислушиваться — идут или не идут. Вона как они гремят, за тысячу верст слышно,» — хочется мне с насмешкой сказать своей бабуле, но я промолчала.

Артиллерийский огонь по местности, казалось, не прекратится никогда. У меня глохли уши, хотелось пить, все труднее становилось дышать...

И вдруг наступила такая любопытная и удивительная тишина, что все растерялись, не зная, как быть дальше: переждать немного или сразу ринуться наверх.

Бабушка предложила ждать, так как по ее расчетам красные не успели подойти и прибудут только к обеду. И все согласились с ней.

Однако чем больше мы отсиживались в тихом и темном подвале, тем больше нас охватывало нетерпение. Женщины, мальчишки вставали, пробирались к выходу, прислушивались, делая самые немыслимые предположения: немцы ушли из города, войне наступил конец. Но выглянуть наружу опасались.

В конце концов Виктор набрался смелости, слегка отодвинул тяжелую дверь. В щель хлынул солнечный свет, морозный воздух и горький запах дыма.

Когда вылезли из укрытия, первое, что увидали, — деревянные

дома напротив, охваченные пламенем. Человек пять — злые устaлые фашисты — сновали вокруг наших построек, плескали из жестяных фляг какую-то жидкость. И мы никак не могли понять, зачем они делают это.

Разгадка наступила, когда из-за горящего угла дома выехал на коне офицер с факелом в руке.

— Шнель!! — раздался окрик, и сердито храпящий взмыленный конь приподнял копыто, словно требуя исполнения команды.

Солдаты, в надвинутых на лоб касках, чтобы никто не мог заглянуть им в глаза, задвигались быстрее, расплескивая керосин по стенкам, углам, дверям, окнам...

И бабушка не стерпела, бросилась к ним в ноги:

— Да что же вы делаете? Образумьтесь! Не берите греха на душу, не оставляйте деток на погибель на морозе...

Но солдаты как будто ничего не слышали, не видели, не понимали: они исполняли приказ.

Подъехал верховой, с силой стегнул бабушку плетью, не сходя с лошади, протянул свой горящий жезл к дому. И необузданный огонь начал свою сумасшедшую пляску.

Поднявшись на ноги, баба Аня скорбно махнула рукой в сторону горящих изб, солдат и верхового, сказала, как будто даже сожалея о том, что случится:

— Не видать вам, окаянные, ни матерей, ни детей своих. Тут вам и погибель придет. — И пошла прочь, вытирая глаза: слезы в такое время — большая помеха.

— Приказ фюрера! — как из преисподней гремел железный голос громкоговорителя. — Великая Германия примет русское население. Женщины и дети, только у нас вы получите работу и еду. Приказ фюрера...

Наша улица все заполнялась и заполнялась народом: старики, женщины, ребята тащили узлы, санки...

Помню, больше всего меня удивила старушка, которая умудрилась все свое имущество уложить на заслонку от печки. Она привязала к ее ручке веревку и тянула поклажу, звонко громыхая железом по обледенелым глыбам.

Вышедших из укрытий, убежищ, подвалов людей каратели все больше и больше теснили на дорогу, ведущую на запад.

Тронулась в обратный путь и гитлеровская армия. Солдаты, машины, орудия, подводы, полевые кухни растянулись длинной черной лентой, оставляя за собой покрытую пеплом землю и затянутое дымом небо.

«Прощай, «великая» Германия!»

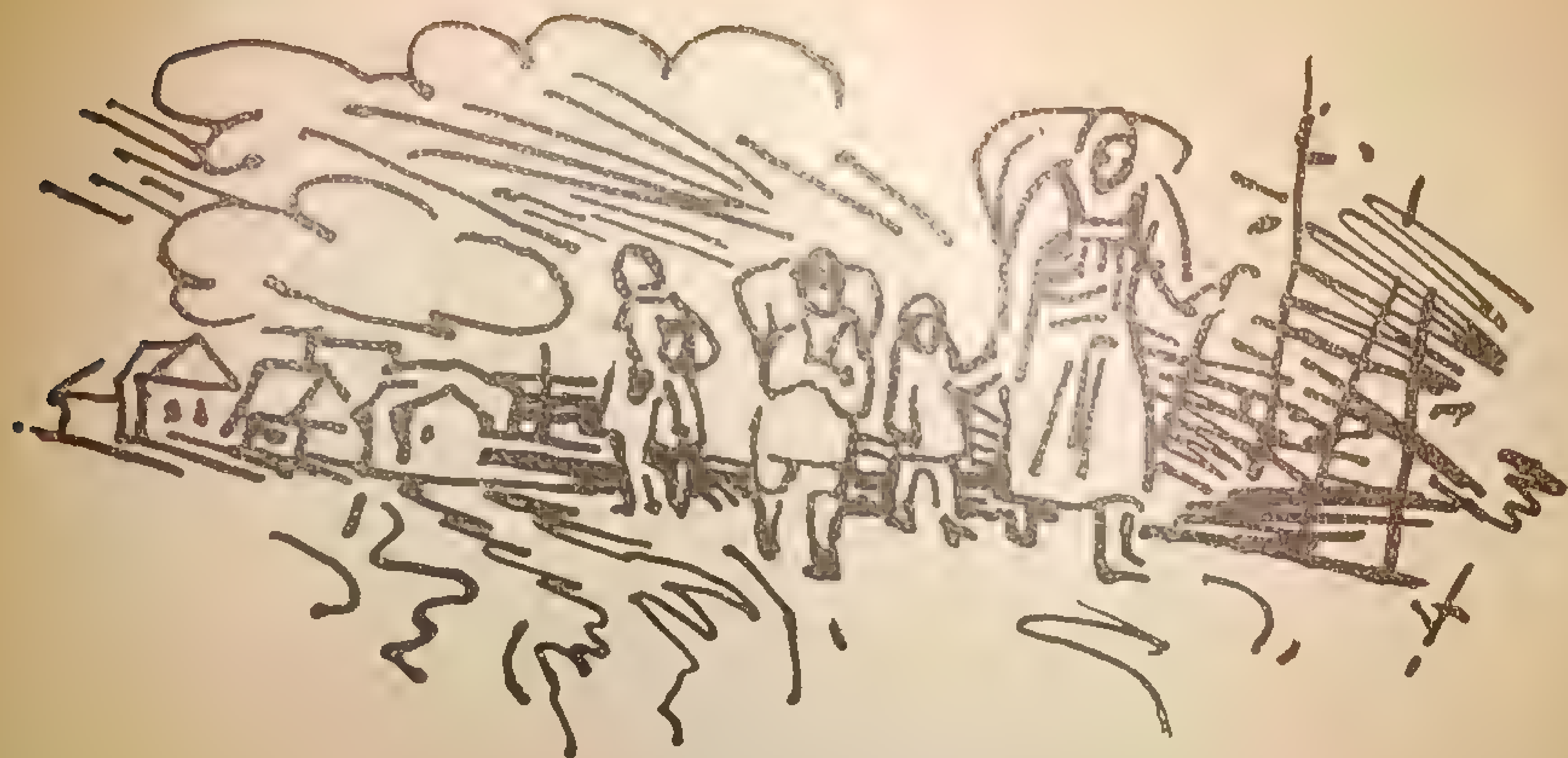
Я разыскала наши санки, уложила на них бабушкин узел, сверху посадила малышей.

Мы с Виктором впряглись в небольшой возок и незаметно потянули к той тропинке, которой когда-то от врагов уходила разведчик Красной Армии — Женя Попова. Женя-Женечка...

Позади рушились дома, голосили бабы, метались из стороны в

сторону каратели, как большие мятляки, слетевшие на огонь, а мы все дальше и дальше уходили от этих родных и горьких мест. Мы шли туда, откуда ранним утром на нас обрушился ураганный гром победного наступления нашей армии. Шли по бездорожью, лесами-перелесками, по заснеженным полям. Засыпáли под открытым небом, вставали и снова шли. К нам присоединялись другие люди.

От взрывов гудела земля, день и ночь не угасало зарево на востоке, сливаясь с зарницами на западе. А мы двигались только вперед, с каждым днем, каждым часом приближаясь к золотой черте, за которой нас ждал мир. А о большей и лучшей доле никто не мечтал.



Оглавление

Литературно-художественное издание

Для младшего школьного возраста

Валентина Владимировна
Кузнецова-Васькина

БЫЛЬ — НЕ СКАЗКА

Редактор О. Казакова
Художник Ю. Башкирцев
Художественный редактор В. Бутенко
Технический редактор Л. Долгова
Корректор Е. Феклистова

ИБ № 1512

Сдано в набор 2.01.89. Подписано в печать 25.07.89. НГ42375. Формат 70×90 1/16.
Бумага офсетная № 2. Гарнитура «Школьная». Печать офсетная. Усл. печ. л. 9,94
Усл. кр.-отт. 10,52. Уч.-изд. л. 9,81. Тираж 15 000. Заказ 2463.
Цена 40 коп.

Приволжское книжное издательство. 410071, Саратов, пл. Революции, 15.

Типография издательства «Коммунист», 410002, г. Саратов, ул. Волжская, 28.



